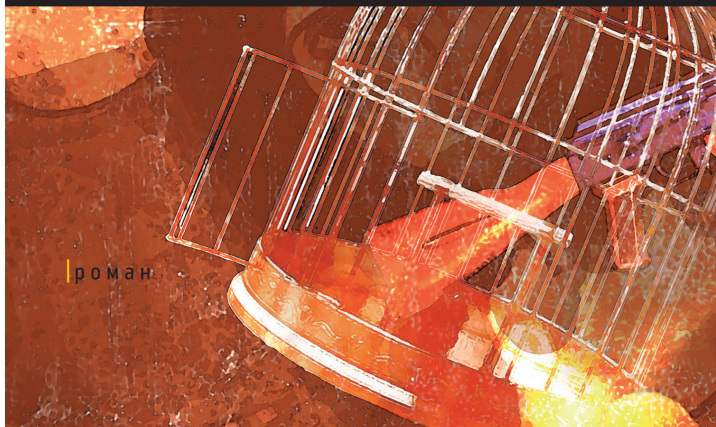




Канта Ибрагимов

СТИГАЛ



роман

Канта Хамзатович Ибрагимов

Стигал

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27434030

Стигал. Роман. – Канта Ибрагимов : У Никитских ворот; Москва;

2014

ISBN 978-5-00095-009-8

Аннотация

Стигал – труженик, семьянин, один из тысяч чеченцев, чьи жизни были искалечены войной. Сын Кавказа, он живет по законам чести и справедливости. Однако что делать, если твои жена и сын погибли при бомбардировке, младший сын предан и убит родственником, а сам ты неизлечимо болен, потерял голос и только мычишь от боли и стыда? В чем найти смысл жизни? В мести – решает Стигал, одолевает болезнь, возвращается в горы и достает старую снайперскую винтовку... Но, он знает, горы не терпят оружия и зло может родить только зло. Стигал выбирает... свободу.

Это роман не просто о неизвестной нам стороне двух чеченских войн, но прежде всего о Человеке, который не сдается несмотря ни на что.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

160

Канта Ибрагимов

Стигал

роман

© Канта Ибрагимов, 2015

© Оформление ИПО «У Никитских ворот», 2014

21.12.2005 г., утро

Как меня когда-то долго, тщательно и упорно в армии учили, я спокойно, четко, а главное, хладнокровно навожу снайперскую винтовку на цель, – глубоко вдыхаю, замираю и плавно, нежно спускаю курок... Вот моя цель, мечта и весь смысл жизни. И это совсем не то, что написано в только что прочитанной мною книге под названием «В чем смысл жизни?».

Может, в этой книге что-то оригинальное есть? Для меня нет. Ибо итог таков: сущность и смысл земной жизни – как достижение гармонии, которая есть Добро, Красота и Покой. Эта книга, как утверждают, – бестселлер, переведена на множество языков, очень полезная, масса комментариев и прочее. А я, если честно, посчитал эту книгу пустой – никаких мыслей и эмоций. Да и что может посоветовать обеспечен-

ный, здоровый человек, проживающий в такой свободной, богатой стране, как Америка? Лишь одно: питайтесь хорошо, отдыхайте много, не волнуйтесь, тем более по пустякам, и любите себя, как Бога. Берегите свою жизнь, здоровье, покой – и проживете долго. Здорово и прекрасно!

Как такую книгу не читать?! Действительно, оказывается, полезная вещь. А представьте, что написал бы я о смысле жизни в моем понимании. Ведь я жил и живу не в благодатной Америке, а в России, точнее в Чечне, где постоянно что-то происходит, под конец моей жизни – две войны... О каких «Гармонии, Добре, Красоте и Покое» можно говорить, тем более писать? И кто эту страшную прозу жизни, эти сплошь батальные сцены захочет читать, переживать, да еще за это страдание, пусть даже сострадание, деньги платить? Зачем? Люди хотят жить в мире, в гармонии. И читать хотят об этом же. И писать хотят о мире и гармонии. И тогда это становится бестселлером, то есть все покупают не просто книгу, а книгу о Добре, Красоте и Покое. Я именно так и поступаю, покупаю эту книгу уже второй раз, и стоит она недешево. Правда, сие происходит не по моей доброй воле, а так предписано в договоре. Когда пациента «помещают», то есть временно изолируют, то, как утверждает доктор, для более успешного лечения необходимо постоянно читать эту книгу, как Библию, и ты очень быстро пойдешь на поправку, потому что поймешь смысл жизни и захочешь жить.

Если честно, то эту красивую и умную книгу, судя по це-

не и ее навязыванию, я и в тот раз осилить не смог, и ныне не хотел с собой брать, зная, что чуть ли не сотни экземпляров этой книги в камере уже есть, но мой лечащий врач, как я его называю – радиодоктор, настоятельно рекомендовал, мол, эта книга не заразна, тем более что это новое издание, расширенное, дополненное, более полезное, и тираж соответствует – сто тысяч экземпляров только на русском языке. Благо, что хоть американцы для нас полезные книги пишут, а то начнешь читать некоторых нынешних российских писателей – сплошь разврат, мат, пьянство и бандитизм. А если попадется более-менее серьезная литература, то о кризисе, о предстоящем крахе России и зачастую с посылом: мол, все эти беды от кавказцев, особенно чеченцев...

Кстати, а мои беды от кого? От тех же чеченцев, или русских, или папуасов, а может, лишь от моей личной глупости и упрямства? А может, просто судьба?

И зачем я это пишу? Мания величия? Решил мемуары после себя оставить, раз иного нет? О чем я пишу? О смысле жизни, моей жизни или вообще? Или о смысле жизни в моем понимании. А зачем?...

Я-то знаю, в чем смысл жизни, моей жизни. Теперь знаю, знаю потому, что она практически прошла, и в последние годы я ой как хотел, чтобы она закончилась. Однако жизнь непростая штука, шутить с собой не позволяет, и порою кажется, что все в твоих руках, а потом вдруг все так перевернется, что даже не поймешь, как это произошло, как к этому

пришел, такое пережил, а живешь, и хочется жить, и откуда-то берутся силы жить... А смысл? Впрочем, все это слова. А этот текст лишь для себя, от нечего делать, лишь бы время убить, пока оно у меня еще есть и меня еще не убило. Это не кокетство, не позерство и не мания. Это строгая и жесткая реальность моего существования. Я в камере. Не в тюремной, а в лечебной. Так и называют – не палата, а камера. Хотя это вроде бы госучреждение, институт радиационной медицины, почти в центре Москвы. Правда, наш этаж, то есть полуподвальное помещение, арендует какая-то американская фирма. Весь персонал – наш, точнее русскоязычный. И пациенты наши. И рвутся в эти камеры, и в очереди стоят, и деньги, большие деньги, платят. Словом, все, как и я, еще жить хотят, хотя смысл жизни, как и сама жизнь, уже...

Однако почему я пишу? Пишу для себя, как оправдание или самоопределение. Пишу не для истории и анализа, я уже все знаю. Пишу для того, чтобы самому с собой объяснить, как-то выразиться, а говорить я не могу. Очень страдаю. А высказаться хочу, хочу сделать некий отчет, отчет и вывод. Стараюсь сделать вывод для самого себя, для личного успокоения. И я знаю, что я попытаюсь сделать правильный вывод, ибо я буду предельно честен, зная, что эти записи никто ни за что не прочитает.

Тот же день, после обеда

Помню, в романе «Учитель истории» главного героя Малхаза Шамсадова запирают в каком-то замке почти в центре Лондона, связь лишь с одним охранником-китайцем и питание посредством специального контейнера.

У меня ситуация аналогичная, если не учитывать некие нюансы. Они заключаются в том, что я сюда пришел добровольно, еще и деньги заплатил, точнее, за меня заплатили. Связь по внутреннему телефону с медперсоналом, а еще есть мобильник. И еда не как у Шамсадова – все, что пожелаешь, вплоть до черной икры. Здесь кормят паршиво. Но я взял с собой в камеру, разумеется, «тайно», а на самом деле доплатив, пакет с едой. Ее я умею размельчать, разжижать и через насос прогонять, ибо голод, особенно здесь, с моим диагнозом – рак, не шутка. А опыт у меня уже есть, я здесь во второй раз. И эту церемонию трапезы так описываю, потому что необходимо представить тонкости всей процедуры. Вроде бы ничего особенного...

Однако для меня все это непросто, я глотать не могу, нечем, у меня вырезана вся гортань и даже верхняя часть бронхов и трахея... Ненавижу я эти медицинские термины. Скажу как есть: на верхней части груди у меня вставлен какой-то американский прибор – катетер. Через него я с хрипотцой дышу, кое-как ем, пью, но самое тяжелое происхо-

дит, когда стараюсь откашляться. Но об этом лучше не думать и не писать. Лучше не жить, чем так жить. И я не раз хотел и пытался покончить с собой, умереть, просто мечтал об этом. Но это прошло, и я теперь хочу жить, должен жить, просто обязан. Потому что я теперь понял смысл жизни. Смысл моей жизни. И он заключается в том, что я должен, я обязан отомстить. И я отомщу... Поэтому я здесь. Лечусь. Хочу хоть немного продлить свою жизнь, ради достижения своей цели, теперь – смысла жизни. Мечь!!!

Тот же день, после ужина

Только что звонила дочь. Она постоянно со мной на связи, а я только сейчас об этом вспомнил. Разве буквально год назад я мог подумать или даже представить, что моя дочь будет жить в Австрии, и не просто жить, но и выступать в Венской опере. Даже не верится! Ведь год с небольшим назад ее молодая жизнь и судьба была катастрофичны. И даже я – ее отец, единственный, кто у нее остался, да и у меня лишь она, и тем не менее даже я ее отверг, отрекся... Об этом мне сейчас даже вспоминать больно и стыдно. И не хочу...

Но какова жизнь?! Как вновь все резко перевернулось!.. Как приятен ее голос; сколько теплого, родного и нежного она мне наговорила. А я в ответ все мычал, слезы текли. Я боялся, что она это почувствует, поэтому как-то попытался общение сократить. Потом написал sms: «Что бы я без те-

бя делал?!» – «Дада, береги себя! Ты мне нужен, очень нужен!» – вновь, уже поздно ночью, звонила дочь.

Те же сутки, ночь

Оказывается, я погорячился – книга «В чем смысл жизни?» не такая уж и пустая, ибо я из нее выписываю цитату: «Писатель, убажывая читателя, продолжает поиск вечных истин и смысла жизни». Насчет первого тезиса – «убажывая читателя» – я вовсе ни на что не претендую, да и убажывать нечем, как раз все наоборот. А вот «поиск вечных истин и смысла жизни» – об этом я никогда не думал, просто жил, как мог. И вот под самый конец, ожидаемый и неизбежный конец, мне пришлось обо всем этом задуматься – истину искать, со смыслом жизнь завершить. А как мне эту уготовленную судьбой напоследок задачу решить? Ведь я уже был явлен миру как тяжело больной пожилой человек и уже четко знал свой диагноз, свое состояние – просто доживал и не лечился. Потому что сами врачи скептически относились к моему лечению – болезнь далеко зашла. Я сам почти сдался, сник и ждал конца с неким облегчением. Правда, специалисты подсказали, что с моей онкологией можно лечиться в Европе или Израиле. На порядок дешевле – в Москве, но это не совсем надежно и желательно. У меня и на этот вариант денег не было, я просто уехал в родные горы.

А тут такое... Может, думая, что мои дни уже сочтены,

и дабы добить, напоследок посмеяться... а может, наоборот, чтобы покаяться, или еще как... В общем, подбросили мне ужасную кассету – последние минуты жизни моего младшего сына... У-у, как все это описать?! Что со мной и во мне творилось! Все нутро загорелось, вскипело. Знаете, как иногда, особенно летом, садится солнце за горами, – весь небосвод алый, вселенский пожар, который, кажется, никогда не потухнет, но он на глазах меркнет, сужается, угасает, блекнет и исчезает. Так и я должен был умереть, и это было не за горами. Однако мой огонь не только не погас, а возгорелся, во мне закипела такая страсть жизни, точнее мести, что я не просто захотел – обязан был жить, чтобы отстоять, доказать правоту, убить виновных! Поэтому я собрал все свои деньги, даже кое-что продал и в долг взял – помчался в Москву, чтобы вырезали из меня эту раковую заразу.

Было страшно, непросто, больно, уныло, бедно; главная беда – был в одиночестве. Но... но жизнь-то не игрушка, и не вечно лишь горе должно было стучаться в мою больную грудь. Теперь я не одинок и даже скоро стану дедом. А еще, как это ни странно, у меня появился почти единственный весомый атрибут этого времени – деньги: нынче с ними многое можно решить. Поэтому я здесь, лечусь...

Но главное в ином – помоги мне, Дела!¹

Не спится. Всякие дурные мысли и воспоминания лезут в голову... Какое кощунство! Я хочу мстить, кого-то уничто-

¹ Дела (чеченск.) – Бог.

жить, убить и при этом прошу Бога о помощи. Надо молиться, просить Всевышнего о спокойствии и прощении. Я каюсь. Виноват. Пусть всех и за все простит Бог... К тому же надо быть реалистом. Как я, инвалид первой группы, которого врачи уже давно списали, могу отомстить или противостоять... Но я хочу, очень хочу. Вот эти душевные противоречия душат меня. Да они же и заставляют жить, бороться за жизнь...

Надо лечь, попытаться заснуть. Завтра, точнее уже сегодня, предстоит очень сложная для меня процедура – прием радиоактивной капсулы. А теперь спать!

22 декабря, утро

День начался плохо. Я проспал завтрак. Но это ерунда, хуже другое – радиодоктор только что звонил, сегодня капсулы я принимать не буду. Вроде бы, учитывая мое состояние, должны были из Америки прислать особый раствор для более удобного потребления, однако он еще не прибыл. Придется лишние сутки здесь торчать. А еще обидно, что пока здесь нельзя зарядку делать. Радидоктор запретил всякую физическую нагрузку, пока радиокурс не окончится. Делать нечего – только писать, словно писатель. Хотя, если честно, это дело, оказывается, тоже не из легких. Да как-то надо время коротать, оно здесь очень медленно идет... А жизнь прошла. Как мгновение... Детство мое было голодное, холодное.

Родился я в депортации, в ссылке, в пустыне Кызыл-Кум. Отца не помню... А вот мать... даже ее теплый, нежный запах до сих пор помню. И она была со мной недолго. Как круглый сирота, попал я в детский дом. Там от голода что-то украл. Меня перед всеми ругали. Помню, жестко наказали, изолировали. Мне было до того больно и тяжело, что я, как сейчас помню, мечтал, чтобы случилось что-то масштабное, грандиозное, плохое – как конец света, чтобы мой инцидент забыли или он показался бы ничтожным. Теперь я этого не хочу. Даже слышать не хочу. Я-то свое отжил. Пусть и не здорово, и вряд ли кто позавидует, да как есть, и не жалуюсь. Судьба. Видимо, так было предписано. Но я не унываю. Я переборол это уныние и призываю всех не унывать. Моя болезнь – это итог уныния. Так и доктора сказали, и сам я знаю. Наверное, поэтому хочу поделиться своим горьким опытом. Хотя кто это прочтет? Лишь тот, кто после меня в эту камеру попадет. Так у них, наверное, и свой опыт жизни есть. Хотя... Хотя такой, как у меня, – вряд ли. А может, и есть. Конечно, есть, потому что я все вроде бы пережил и жду конца, но радостного конца. Своего конца и своего начала.

Впрочем, что я так распоясался – все «я» да «я», будто личность какая. Лучше телек посмотреть, потом спать. Смотреть нечего – сплошь похабщина, деньги, роскошь, разврат. И этим гордятся, воспевают пошлость и изменчивость чувств. Нет боли и сострадания, нет мысли о завтрашнем дне, о будущем. А если есть, то лишь о выгоде, об эконо-

мической эффективности и прибылях. А может, так и надо. Зачем уныние? Лучше праздник, лучше развлечение! Пошлость. Даже кажется, что обмельчал народ. И среди чеченцев, к сожалению, есть такие. А было время, и были люди...

Я обрелся в детском доме, было нелегко, я по матери скучал, плакал, не верил, что она умерла, и не понимал, что это такое, а может, не хотел это понимать, в это верить. Я плакал, тосковал, хотя вокруг, наверное, все такие же сироты были – время-то послевоенное, сиротливое, голодное. Но я думал лишь о себе, все мать ждал, все в окно сквозь слезы выглядывал. И дождался. За мной явился дядя. Позже, чуть повзрослев, я узнал, что он мне никакой не дядя, даже не родственник и не односельчанин. В каком-то поезде наша воспитательница, узнав, что ее попутчик чеченец, обмолвилась обо мне, мол, поступил к ним в детдом мальчик, тоже чеченец. Так этот человек – по жизни и памяти моей он не только дядей, но и вместо отца мне был – сошел на ближайшей станции, вернулся обратно, нашел наш детдом, представился моим дядей и забрал меня в свою семью. Сам он был простой колхозник, большая семья, сами жили чуть ли не впроголодь, и я с ними – как все, как родной.

Из ссылки мы вернулись в Чечню лишь в 1960 году. После указа об амнистии 1957 года семья дяди Гехо еще три года не могла получить добро на выезд из Казахстана.

Мне шел шестнадцатый год, когда я впервые оказался в Чечне. Я уже знал, кто я, откуда, но в мое родовое высокогор-

ное село жить никого не пускали. Меня хотели забрать мои близкие родственники, но я попросил оставить меня у дяди Гехо до окончания школы. После школы дядя Гехо сказал мне, что я согласно чеченским адатам должен жить в своем родном селе, в горах. Именно дядя Гехо получил от властей специальное разрешение и впервые повез меня в мое родное село.

Красота неопиcуемая! Величавые, гордые горы, вселенский простор, а воздух – упоительный. Красота такая, что дух возносится. Наш надел в некоем тупике, в самом живописном месте, прямо у обрыва. В глубоком, бесконечном ущелье сверкает змейкой река. И в эту прозрачную, вечно холодную, говорливую речку течет и наш родовой маленький родничок, что испокон веков спокойно, тихо и как-то скромно, как сок земли, сочится из-под огромного валуна. Жить здесь, казалось бы, как в сказке! Однако я жить там тогда не мог. Во-первых, всем чеченцам в высокогорье жить запрещено. Во-вторых, негде. Наша многовековая родовая башня, дом и уникальное подземное помещение, выложенное камнем двести лет назад, – все не просто разрушено, но и эти камни с обрыва – в пропасть... и теперь здесь все, даже дорога, бурьяном заросло. И наконец, в-третьих, у меня повестка в армию. Провожая меня, дядя Гехо, словно предчувствуя, сделал наказ-завещание: твой родовой надел – волшебное место, один завораживающий вид и родник чего стоят! Живи на родной земле, на своем наделе. Будет нелегко,

в горах всегда нелегко, вечно пахать надо. Зато ты будешь счастлив и спокоен, и появится потомство, гордиться им будешь.

Разве это не достижение гармонии, которая есть Истина, Добро, Покой и Красота, то есть смысл земного существования? Однако жизнь прожить – не поле перейти. Да и молодость, и обстоятельства, и среда, и законы существования... Разве они позволяют в гармонии и спокойствии жить. Так, я попал не просто в армию, а на Тихоокеанский флот, в морскую пехоту. Первые полгода – учебка, гоняли нас сутками. А после учебки – распределение. В каждом взводе должен быть один специальный стрелок – снайпер. Служба особая, несколько отстраненная и потому привилегированная. Я хотел было напроситься в снайперы, а комбат опередил, указав на меня:

– Этого в снайперы. Стреляет хорошо. Да и взгляд у него, как у всех кавказцев, – острый.

В этом мне повезло, а вот перед самым дембелем обострился Карибский кризис. Ушли мы в океан. Много стран я, правда, только с борта, повидал. А вот на Кубу – остров Свободы ступил, в Гаване был, даже в теплом море купался. Так что пришлось служить не три, а еще сверх того полгода, и когда мы после семимесячного плавания пришли во Владивосток, многие из экипажа попали в госпиталь, а я здоров – и прямо в часть, а там лишь одно письмо – дяди Гехо нет на свете. Более мне никто не писал...

И вот сколько лет прошло, и я заболел... До этого я ни разу в жизни не болел, не знал, что такое укол, а тут такое. Правда, уже не молод. А врачи всегда начинают: чем по жизни болели? Вредные привычки? Нет. Никогда не пил, не курил. А они докапываются, и если скажешь, что на подлодке был, так они сразу – радиация. Да ничего бы мне эта радиация не сделала, просто жизнь, условия жизни с некоторого момента как в термоядерном реакторе... Впрочем, зачем все это вспоминать, ворошить. Лучше думать о добре, о грядущем светлом, радостном будущем. Оно уже есть, все предпосылки есть, и я в ожидании этого счастья. Скоро я стану дедушкой...

22.12.2005 г., ночь

Не спится. Капсулу не дали. День впустую прошел. А если бы дали, что – стало бы лучше, легче? Ничуть. А я все равно здесь и на что-то надеюсь. Надеюсь, но не на врачей и их капсулу с радиацией. Просто не могу отказать дочери, она оплатила эти сверхдорогие процедуры. Я в них не верю. Нашим врачам не верю, которые думают лишь о том, как из пациента сделать выгодного клиента, много клиентов, и как свои услуги выгодно продавать. Конечно, обобщать нельзя, не все врачи такие, и как без врачей быть. Но мой опыт... Хотя, может быть, я и не прав. Однако повтори все сначала... С какого начала? И где это начало? Где конец? И что бы я

ни думал и ни писал, а я все же в больнице, и если быть до конца честным, то все же на врачей надеюсь. Вот так противоречивы мои мысли, впрочем, как и вся жизнь. И я ведь переживаю, почему капсулу с радиацией не дали. Но примерно догадываюсь. В тот раз с этой капсулой случилась беда. Оказалось, она не пролезает через шланг катетера, чересчур толстая. Тогда мой доктор с кем-то советовался, вроде бы капсула из Америки, и методика самая прогрессивная, лучше, чем химиотерапия. В общем, посоветовали то, что я хотел и мог: капсулу тупым ножом еле разрезал, а в ней белый порошок – в стакане залил водой, помешивая, пытался растворить, а этот порошок, видимо, что-то вещественное, как металлическая стружка, не растворяется, но я умудрился его через катетер пропихнуть. А результат, не по состоянию моего здоровья – оно как бы стабильно, а по радиации, оказался неожиданным. Я должен был лежать дня три, от силы пять, а пришлось целых восемь дней – сказали, что радиационный фон в моем организме не понижается. Выписали меня из-за моего бунта – я уже не мог более тут находиться, боялся умереть, такая нашла хандра. Ну и клинике это в ущерб, им ведь нужна энергичная смена больных, клиенты – в очередь, деньги немалые. А тут день без толку. А сколько этих дней у меня еще осталось? Боюсь ли? Боюсь. Больше всего боюсь здесь умереть... потом морг. Будут резать. Что осталось, дорезать. Ведь этим врачам все любопытно посмотреть, узнать, почему я дурно пахну. А я действительно

вонюю. Никак к этому привыкнуть не могу. Да и как к такому привыкнуть. Катетер – в верхней части груди, если грубо, то в пищеводе – прямо к желудку. Никаких фильтров нет, и все, что там разлагается, – прямо в нос. А обоняние, как назло, обостренное, все органы чувств обострены, напряжены, и я постоянно ощущаю эту вонь, словно, а может, так и есть, я сам разлагаюсь, постепенно превращаюсь в дерьмо. Знакомые утверждают, что никакого неприятного запаха от меня нет. Но мне кажется, или так оно и есть, что они меня просто успокаивают. Я вижу, как люди от меня шарахаются, брезгают, морщатся. Это и от ужасного вида катетера – ведь прямо в грудь вставлен, сам до сих пор видеть не могу, но, видимо, и от запаха, точнее вони. В этом отношении камерное уединение имеет и свои плюсы. Однако куда лучше было бы дома, в родном ауле, в горах. Поздно я это понял, а ведь дядя Гехо советовал, наставлял...

Что-то мой живот заурчал. Голодный? Поесть для меня – целое дело. Вручную надо насос качать. Есть у меня еще и электрический, дочь из Германии привезла, я его берегу, батарейки могут сесть. А мой желудок, мой организм надо подзарядить. Какие консервы открыть? А может, сэкономить? Кто знает, сколько я дней здесь проведу. Дай-ка я обману желудок, водой заполню. Урчать не будет, голод не почувствую, и выделять миазмы меньше будет. Вода не пахнет. Правда, и тут свой минус, где-то полчаса лечь не смогу, пока жидкость полностью в кишечнике не растворится. А то бывает,

напьюсь воды, лягу, а жидкость через катетер вытекает. Зато когда лежу, то катетер не под носом, и запахов почти не ощущаю. А они есть, не могут не быть – все, что нормальный организм как-то отвергает, выкидывает, у меня застревает в катетере. У меня есть всякие мною придуманные приспособления, которыми я катетер кое-как прочищаю, но это поверхностно – раз в три месяца катетер надо менять, а это может делать теперь лишь мой личный, так сказать, врач – пятьдесят тысяч, плюс и сам катетер от 13 до 18 тысяч. Правда, по закону стоимость этого катетера должен возместить медстрах. Я однажды попытался это сделать. Столько надо было справок о справке достать, а потом выдали лишь половину, мол, есть негласный закон – то ли откат, то ли распил, в общем, себе дороже. Однако не это, теперь не это – не деньги самое тяжелое, тяжело в общественном транспорте. Как в поезд, тем более в самолет, с этой вонью сесть? Я пользовался автобусом, на последнее сиденье один сажился. Две тысячи километров от Грозного до Москвы, и никаких удобств, и я не ел. Ныне стало гораздо легче, дочка помогает, я покупаю все купе спального вагона, еду один. Впрочем, я теперь всегда один, и остался один. Но я жду, должен дожждаться...

Устал, и писать устал. Включу телек. Как там в мире? А вообще-то сегодня 22 декабря, самая длинная ночь в году. Спать!

23 декабря, утро

Видимо, нервы приходят в порядок – появились некое согласие и долгожданная гармония с самим собой. По крайней мере, конечно, не как дома в горах, но сплю тоже крепко. Еле проснулся на завтрак, а потом по внутреннему доктор звонил. Это не личный врач, что резал меня, как хотел или как мог, в онкоцентре. Этот вроде бы лечит, лечит радиацией. Этот мне нравится, по крайней мере, веселый, открытый и, кажется, честный, не хапуга. Весьма и весьма порядочный молодой человек, и он мне сказал, что, учитывая мою ситуацию, они заказали в США для меня разжиженную порцию лекарства, но из-за чего-то оно так и не поступило, и после обеда придется вновь, как и раньше, капсулы резать. Я удивленно промычал, а он понял:

– Да-да, две капсулы. Так надо. Вам сейчас такая доза нужна. Я буду следить по монитору, если что – подскажу.

Я вновь недовольно промычал, он вновь понял:

– Не волнуйтесь. В среднем адаптация – те же три-пять дней. В любом случае мы на Новый год здесь никого не оставим.

И когда у меня вырвался недовольный хрип, он пояснил:

– Понял. Не волнуйтесь. Я в курсе. В любом случае 26-го мы вас выписываем, 27-го вам меняют катетер в онкоцентре, 28-го – в Вену, а 30-го вы будете на концерте дочери. Зави-

дую и поздравляю. В обед придут капсулы. Удачи!

О капсулах я и не думал, был потрясен. Какой концерт, какая Вена? Я знаю, что дочь в Австрии, приехать не смогла, и не надо, хотя, если честно, увидеть ее я очень хотел. Но она из Европы все мне организовывает, и вчера несколько раз и сегодня с утра звонила. А тут такое, я сразу послал ей сообщение: «Какой концерт, Вена? Или доктор уже облучился?» – «Дада, не волнуйся, – отвечает. – Моя мечта сбывается. Это не сольный, но уже пригласили на новогодний концерт в Венской опере. Поэтому не смогла прилететь. В Москве этот. Он все организует. Береги себя. Надеюсь на скорую встречу». «Этот» – мой зять. Ее муж. Весьма приятный молодой человек. Дочь не имеет права называть его по имени, по крайней мере при мне или обращаясь ко мне. А мне и приятно, и крайне неловко, что зять из-за меня прилетел в Москву.

... Каюсь, я в последнее время некоторых чеченцев в душе ругаю – под влиянием цивилизации приоритет у них лишь деньги и прочие блага. И все же не все так печально. Ведь зять прилетел в Москву не по воле моей дочери – это его отец, мой друг и товарищ, а теперь и заахало (сват) Маккхал направил своего сына на помощь мне, а вот и очередное его сообщение: «Держись, терпи. Знаю, что дозу удвоили. Врачам виднее. Надеюсь на скорую встречу. Визу тебе уже сделали».

Какая виза? Какая Вена?! В моем-то состоянии куда-то

еще лететь. Мне бы до дома добраться. Вот моя мечта! А там... Там как Бог даст. А если честно, что я удивляюсь? Ведь сам мучился в Грозном, пытаюсь по многочисленным просьбам дочери сделать этот загранпаспорт. Забыв реалии дня, по старой совковой памяти я прочитал в милиции инструкцию, как получать загранпаспорт. Мне нелегко, но я все же все справки собрал, госпошлину заплатил, а паспорта и через два месяца нет, но я ведь ругаться не могу, а они мое мычание не понимают, и тогда один добрый человек подсказал – дай на лапу, все образуется. Так и получилось, и что я удивляюсь, если даже в центре Москвы, прямо в холле огромного онкологического центра большой плакат: «Лечение в нашем центре бесплатно. Государство гарантирует. Конституция РФ». И тут же за все, начиная от бахил и кончая выпиской, надо платить, и никто никого не стесняется, не боится. А кого бояться, если и Бога не боятся и о нем не думают. Деньги – всему глава!

Кстати, а разве это не так? Разве был бы я здесь, если бы не деньги?... Впрочем, зачем о грустном. Впереди Вена, концерт... Нет, впереди радиация, аж двойная. Ничего особенного, выпью капсулы. Побыстрее бы. Ведь до этого дня целый месяц я не ем все, что может содержать йод. А я и так мало что могу есть, то есть потреблять, – дурацкий катетер, ограничитель жизни. Вот капсулы приму и такую дозу йода получу, что даже простую соль видеть не захочется. Потом появится жажда – это у меня и в прошлый раз так бы-

ло. А вот по инструкции предупреждают, что еще пару дней будет тошнота, рвотные позывы, слабость, запор и в целом очень угнетенное состояние. Ничего этого со мной в тот раз не случилось. Видимо, я был в таком угнетенном жизнью состоянии, что искусственную угнетенность от радиации даже не ощутил. Еще предупреждают о страхе одиночества. Этого страха у меня теперь нет. Наоборот, я всякими способами пытаюсь ото всех изолироваться, и это не только от моего страшного вида – сам боюсь в зеркало смотреть, а более от запаха, спутника распада пищи, который преследует меня из-за катетера. Еще один пункт инструкции – о возможности неприятного запаха во рту, рекомендуют сосать лимон. На сей раз я взял с собой более десятка лимонов. Сосать бессмысленно, а вот в воду выжать и загнать в живот – жажда проходит. Кстати, надо медсестре послать сообщение, чтобы побольше минеральной воды с обеденным контейнером прислала. Хотя знаю ответ – «мы сами пьем водопроводную и вам то же самое советуем, хуже не станет». Это точно, хуже не станет, а вот вода здесь, и не только водопроводная, а в бутылках тоже, – просто отравы, извини меня, Всевышний... То ли дело мой родник, мой родовой родничок. С утра первым делом я пью, не поглощаю, хотя и через катетер, а пью, по крайней мере, я так себе внушаю и так ощущаю, – пью очень сладкую, приятную, родную воду. И самое интересное, что дома я практически неприятного запаха из катетера не чувствую, вот такая вода и натуральная пища – молоко, об-

ратка и творог от односельчан, мед мой, сам пчелами занимаюсь, и мой родник. Все экологически чистое! А вот выеду я из дома, начинаю не пить, а потреблять всякую хлорированную воду, различные консервы и полуфабрикаты, и пошла эта преследующая, как наваждение, вонь из катетера, и пошла отрыжка, рвота, кашель, от которых жить тяжело.

Теперь я понимаю древнюю китайскую поговорку – человек есть то, что он ест. И это абсолютно верно. И даже ученые это доказали, вон, даже Нобелевскую премию по медицине и физиологии вручили за то, что стало известно – изменение рациона питания изменяет структуру ДНК человека. Что такое ДНК_ я, конечно же, четко не знаю, зато подтверждаю иное – вне дома я сам себе противен, поскольку неприятно пахну. А тут еще на концерт в Вену. Вся публика разбежится. К тому же от этого слова «концерт» мне становится плохо. Однако это особая тема, о которой мне даже не хочется писать.

Скоро обед. Надо готовиться к приему капсул. Хоть я и пыжусь, а волнение есть. И если на сей раз мне дают двойную дозу радиации, то это не к добру. Много теперь от меня скрывают, да я-то свой диагноз знаю – дни почти сочтены. Лишь бы не здесь... И лишь бы не до концерта и еще одного события. Наиважнейшего для меня события. Как я волнуюсь за дочь! А более и волноваться не за кого. Судьба, судьба... Не думал я, что ты со мной так обойдешься, что так жизнь сложится. Даже не знаю, как я это все пережил, и еще живу,

и вроде бы хочу жить, даже в таком состоянии, теперь хочу жить. Вот такая эта жизнь – противоречивая, зигзагообразная, непредсказуемая, очень тяжелая. Но я еще хочу жить, даже подвергаю себя радиационному облучению, как бы в лечебных целях. А ныне доза двойная. Надо подготовиться.

Тот же день, вечером

Даже не представлял такого. Без каких-либо проблем проглотил я две капсулы зараз. И вроде бы ничего. На сон потянуло, словно успокоительный укол сделали. А потом жажда – в жизни такого не испытывал, будто бочку соленой капусты съел. Я эту вонючую, хлорированную водопроводную воду в таком объеме в себя закачал, что руки заболели. Тогда я вынужден был включить спасительный электронасос. Словно пожар тушил, все тело и все внутренности горели. И прилечь не могу – неприятно пахнущая жидкость из катетера выливается, а я еще и еще пить хочу, жажда невероятная. Сегодня не один раз я вспомнил свой родник, вот эта родная вода сразу бы утолила мою жажду.

Зачем я сюда приехал? Зачем я цепляюсь за эту жизнь? Сидел бы у себя в горах. Какое бы счастье! Как я хочу домой. Как там, на родине, хорошо. Поздно я это понял, хотя дядя Гехо предупреждал, настоятельно советовал. А что я мог сделать? Даже сегодня я там жить не могу, не дают. И тогда не мог, тоже не давали, да и возможности не было.

Помню, как вернулся из армии. Дяди Гехо уже нет, и родни не густо, и в кармане пусто. Но я первым делом посетил могилку дяди Гехо, побывал у его сыновей, потом решил поехать в родное высокогорное село. Не пустили. Первое время я жил у старшего сына дяди Гехо в одном из новых сел в пригороде Грозного. Здесь же устроился на работу – разнорабочим в местном колхозе. Зарплата маленькая, никакой перспективы, и что ни говори, хоть и родные, а жить так вечно невозможно. И тут я как-то случайно увидел объявление в газете: «Горагорскому управлению буровых работ объединения „Грознефть“ требуются рабочие, предоставляется общежитие». В тот же день я поехал в это управление, и там на входе тоже объявление – требуются рабочие, а в отделе кадров мне вежливо отказали, мол, нет у меня требуемой квалификации.

Это было летом, жара нестерпимая, контора на отшибе. До ближайшего населенного пункта Горагорска километров пять-шесть. Тронулся пешком, и тут по пути меня подобрал грузовик нефтяников. Шофер, уже немолодой русский мужчина, был совсем не словоохотливый. В кабине духота, и тут я заметил на его руке татуировку – якорь. Сказал, что тоже в морфлоте служил. Вот тут мы и разговорились, и он мне прямо сказал – чеченцев в «Грознефть» не берут, лишь в исключительных случаях. А контора богатая: и зарплата хорошая, и общежитие, и очередь на жилье быстро движется. В общем, лучшего места в республике нет, и он подсказал:

«Тебе бы характеристику-рекомендацию из штаба морфлота. Только ты укажи адресно, куда и кем: мол, именно рабочим хочешь устроиться. Тогда вряд ли откажут, не посмеют. Ведь у нас страна рабочих и крестьян. Хотя это неправда. Но ты пиши, дерзай, не плохого желаешь, а рабочих рук нет».

Не питая особых иллюзий, но иных вариантов и не было, я написал письмо в штаб Тихоокеанского флота. Вот это была страна! Не я получил ответ, а письмо-характеристика и чуть ли не приказ поступили прямо к военному коменданту республики, который лично меня разыскал и сам повез в объединение «Грознефть». Меня не только взяли на работу, про меня, как достойного матроса, который после демобилизации захотел быть настоящим рабочим, строителем коммунизма и прочее, – статья в республиканской газете, фото – я на подложке. Я был просто счастлив! А как иначе, работа отнюдь не тяжелее, чем в колхозе, а наоборот, все четко, чисто, по графику, и никаких сезонных авралов и ночных дежурств – восемь часов отработал, и баста, и даже суббота выходной, не говоря уж о воскресенье и праздничных днях. В колхозе этого не было – коровы всегда есть хотят, и всегда, без выходных, навоз убирать надо. И за этот почти непрерывный труд я получал в колхозе 70 рублей, а тут 280 плюс премии и доплата. Плюс большая светлая комната в общежитии, почти в самом центре Грозного. Но и это не все, по рекомендации-направлению из армии мне гарантировано внеконкурсное зачисление в Грозненский нефтяной ин-

ститут по любой специальности заочного обучения. Вот тут были некоторые проблемы: я в математике всегда был слаб, да и то, что знал, подзабыл. Тем не менее меня приняли на факультет механизации, там был явный недобор. Первые две сессии первого курса проходили у меня очень тяжело. Но я старался, очень старался, посещал занятия, консультации, репетиторов, библиотеку, словом, подтянулся, и когда я принес в контору нефтяников справку из института, что закончил три курса, мне сказали, что я уже специалист, и мои дела пошли в гору.

По жизни я сирота, не был разбалован, все в труде, никаких забав, соблазнов и вредных привычек. Обычно после праздников, а в бригаде почти все понемногу «потребляли», в основном твердая надежда была лишь на меня. Я свою работу – рабочий буровой – всегда любил, ценил и даже гордился ею. И меня ценили. Через два года я бригадир. Третий курс закончил – мастер. И меня вызвали в партком – пролетариат должен укреплять ряды коммунистической партии. Я еще не закончил институт, а уже начальник смены, член КПСС, грамоты и медаль, и уже не первый год стою в очереди на жилье. Но те, кто после меня в объединение на работу пришли, квартиры получают, а мне не дают. И тогда я обратился к начальству, и в парткоме сказал, и в профсоюзе. Все ответили одинаково – я еще не женат, а здесь приоритет семейным.

– Так вы даете квартиры юнцам, которые только приеха-

ли из других регионов, – возмутился я на очередном партсобрании.

– У них целевое направление, – объяснили мне. – И мы должны им предоставить первоочередное жилье как молодым специалистам.

– А зачем сюда откуда-то специалистов присылать? У нас свой прекрасный нефтяной вуз. Вы наших, местных ребят отправляете черт знает куда, на Крайний Север. А сюда пригоняете из Москвы. Эти юные москвичи здесь жить не могут, не хотят и работать не хотят. Хорошие квартиры получают, через год продают и отбывают восвояси. Разве это правильно?

– Вы не согласны с линией партии?

– С такой – не согласен.

Конечно, это был явный демарш. А ведь это семидесятые годы прошлого века... столько лет прошло. Я и сейчас вспоминаю это собрание и порою корю себя – зачем? С тех пор напрочь остановился мой карьерный рост. А с другой стороны – я не струсил, сказал правду, по крайней мере, то, что думал и видел. А зачем? Разве что-то изменилось? Даже сегодня, когда, казалось бы, строй и режим поменялись, и коммунистов вроде нет, и страны СССР уже много лет нет, – что-то изменилось, лучше стало? Наоборот. Значит, надо приспособливаться, в холуях быть? Ведь все равно ничего в лучшую сторону не изменилось и, по-моему, еще хуже стало. А я тогда выступил потому, что мне нечего было терять. Впро-

чем, как и сейчас, на старости лет, под самый конец. А выступил, конечно же, зря. Пашешь на барина – признай крепостной строй и молчи, лишь для еды рот раскрывай, и все будет нормально: будешь сыт, орден получишь и квартиру получишь, если будешь себя как подобает вести. А иной вариант был? Был – уехать в родные горы. Но и туда не пускали.

Эх, попить бы сейчас из родника родного. После этой радиации и этих воспоминаний – все внутри жжет, пожар! Но разве эта вонючая водопроводная вода сможет потушить жар в груди, тем более жажду жизни. Почему всегда хочется жить? Потому что на что-то еще лучшее надеешься, ждешь, веришь в будущее, которое, кажется, будет светлее.

24 декабря, утро

Все-таки две капсулы – доза лошадиная! Всю ночь не спал. Лишь под утро эта непонятная жажда прошла. Потушил я этот огонь в груди. Зато резко появилось другое чувство – голод. Это хорошо. Врачи говорят, что в моем состоянии аппетит – дело к лучшему. Не знаю, к лучшему или худшему, я бы барана, наверное, съел, если бы мог. Еле завтрака дождался. А кормят здесь...

Только что доктор звонил. Это – радиодоктор. Я его называю так не потому, что он заведует радиацией, а потому, что в его кабинете постоянно громко играет радио, и когда он ко мне звонит, музыка мешает, но я же не могу ему ска-

зять: выключите эту ерунду. Хотя надо бы... И надо было бы спросить, почему такая мучительная жажда. Но я спросить не могу, сообщение послал – без ответа. Вот так лечат. Хотя денег заплачено до самой крайней плоти... А спросить не с кого и бесполезно. В такой стране ныне живем, где все, почти все, решают лишь деньги. В этом отношении Советский Союз – страна, которую даже я частенько ругал, была уникальная. Особенно в плане бесплатной медицины, образования и других социальных благ. Все-таки какое-никакое, а социальное равенство в целом соблюдалось. Однако если бы меня спросили, где бы я хотел жить – в СССР или в современной России... В начале девяностых я, не колеблясь, ответил бы – в современной России, хотя тоже было нелегко. Бал правят лишь деньги. Деньги – основной лозунг и идея России! А сегодня, когда уже столько лет как нет СССР, я скажу – не хотел бы жить ни там, ни там. И как ни странно, когда я общаюсь со своими ровесниками, то они постоянно с ностальгией вспоминают прошлое, молодость, службу в армии, как гуляли, пили, прочее, прочее в этом духе. В этом отношении я теперь категоричен – я не люблю свое прошлое и, к удивлению всех, живу будущим, хотя оно уже почти прошло и будет мимолетным, но будет. Потому что я хотя бы теперь сделал то, что должен был сделать в молодости, – я живу на родной земле...

Что я несу? Какая родная земля? Я заперт в камере. И меня то ли лечат, то ли надо мной проводят эксперимент.

Последнее пришло на мой не совсем здоровый ум оттого, что сегодня за утро мой радиодоктор звонил уже три, если не четыре раза по внутреннему и, как мне показалось, словно по какой-то анкете задавал мне вопросы. Я-то вроде отвечать не могу, лишь мычу, а он меня в камеру видит и говорит – кивни, покажи рукой. А потом и вовсе:

– Привстаньте... Рот к камере. Шире откройте рот... А теперь глаза. Покажите мне глаза. Вот так... А слух. Уши не заложены? Теперь не болит? Как стул? Запор? Нет? Воду пейте. Больше воды... сколько примерно вы выпили? Ну, я понимаю, что это не ваш родник. Это Москва... А нос надо прочистить. Обязательно прочистите нос. Это вам кажется, что вы им не дышите. А вы его закройте и поймете. Вам не холодно? Ну, в общем все нормально. Правда, радиационный фон очень высокий... Это понятно. Хорошо, что аппетит хороший. Значит, организм борется, живет. Я скажу, чтобы вам обед более калорийный сделали... Слабость есть? Отдыхайте. Поспите до обеда.

Тот же день, после обеда

Вновь меня медсестра еле разбудила. Это хорошо. По-моему, понемногу прихожу в себя. А нос прочистил. Действительно, легче стало. И голове полегче. Зато обоняние обострилось, вновь этот запах... Видимо, от здешнего питания. А «калорийный» обед – тот же суп куриный и еще одна котле-

та вдобавок, плюс компот и хлеб. Все это я измельчаю в одной большой емкости, тщательно разбалтываю, разжижаю и насосом – в катетер. Живот недовольно урчит, газы, дрянной этот запах больного существа. Но голод, как говорится, не тетка. А я голоден. Пишу медсестре, чтобы она дала побольше ужин. А она – «Меню не я составляю». Я не стал обращаться к радиодоктору. Он сам позвонил. Мне он нравится. Всегда веселый, жизнерадостный. А сегодня говорит:

– Хорошая у вас дочь. Только что звонила. И ваш зять утром был... Я вам ставлю высшую категорию питания. И еще, в плане большого уважения и исключения, на ужин двести грамм красного вина или сто водки, чтобы радиацию вывести.

Я замахал руками, в жизни не пил и не хочу.

– Ха-ха, тогда я за вас выпью... А вам пришлю снотворное, жидкое. Выздоровливайте.

Тот же день, после ужина

Высшая категория питания! На ужин – гора хлеба и две уже несвежие котлеты. Видимо, кто-то из моих соседей на обед не съел, я их тоже не съем, не могу, хотя есть хочу... Попробую снотворное. Я такого пузырька и не видел, заморское, наверное, американское.

24 декабря, ночь

Вот это снотворное! Помню, как я страдал после операции. Никакие уколы не помогали. А это, видимо, настоящее снотворное. Просто вырубился. Зять, наверное, щедро заплатил. Все проспал. Семь пропущенных звонков дочери. Маккхал трижды звонил. Сообщения от них же. К ним звонить, писать уже поздно. Три часа ночи. А вот сообщение из дома, от родных односельчан. В горах похолодало, выпал снег. Интересно, как там моя живность? Я ведь под конец зажиточным горцем стал. У меня небольшая пасека – пять ульев. Есть собака – сосед щенка подарил. Есть кот – сам ко мне еще котенком забрел, а может, кто-то подбросил. Собака не пропадет. А вот кота я соседям отдал, они в километре от меня живут. Этот кот, говорят, когда я выезжаю, каждое утро к моему дому бегаёт – меня не найдет, к вечеру обратно к соседям. Но самое мое большое богатство – кони, почти табун – семь голов. Могло бы быть больше. Однако каждый год то медведи, то волки, то барсы двух-трех съедают. Это хозяйство не в тягость. Лишь за пчелами я слежу. А табун... а табун свободно по горам ходит. Бывает, летом, особенно если дождей нет, я их месяцами не вижу, уходят совсем далеко, высоко, чуть ли не под ледники. Там трава совсем маленькая, да, видать, очень вкусная. А вот зимой, когда сильные холода, снег и голодные волки преследуют, они к дому

тянутся: здесь я им даю кукурузу, овес, соль. Да и родничок мой никогда не замерзает. Как хорошо в родном доме, на родной земле! Поздно я это узнал, оценил. Хотя судьба всячески подталкивала... ведь квартиру мне в «Грознефти» так и не дали. Все говорили – женись, будем решать, а холостым можно и в общежитии. Это мне говорили не только на работе, но и родственники, и друзья, ведь мне уже было за тридцать. И если честно, то я сам мечтал и хотел жениться, и сватали меня, на смотрины водили, но душа ни к кому не лежала. Да вот как-то прямо к нам в объединение на Новый год приехали артисты из местной филармонии, и мне одна девушка-артистка очень приглянулась. Как я позже понял, особыми талантами она не блистала, но сценой всю жизнь проболела, хоть была на вторых ролях, подпевала, на гармошке играла, прилично танцевала – это из-за фигуры: высокая, тонкая, стройная. Я так влюбился, таким поклонником стал, что все концерты с ее участием стал посещать. Познакомились, стали общаться, а тут мои родственники и сыновья дяди Гехо недовольны – какая из артистки жена. Но я ей все как есть про себя рассказал, а особо и говорить нечего, сделал предложение, правда, с одним условием – моя жена на сцене выступать не будет.

– А работать в филармонии? – спросила она.

– Я прокормлю. Хорошо зарабатываю, – важничал я.

Тихо, скромно поженились, привел я ее в общежитие, а через неделю, как раз на следующие выходные, повез на род-

ной надел. Я столько ей про свои горы рассказывал, а в тот раз, как назло, в горах холодно, ветер, дождь моросит и туман, красот не видно.

– Родник вкусный, – лишь сказала она, дрожа от холода. Нам до дороги километров пять возвращаться, и не факт, что какая-то попутка подберет, а рейсовых никогда и не было. А она к тому же, вопреки моим советам, как невеста нарядилась, на каблуках, а теперь оказалась вся в грязи. Словом, более о моей сказочной родине она слышать не хотела, а я пошел в профком, показал свидетельство о браке.

– Хорошо. Поздравляем. Пишите заявление на жилье, теперь как семейный... Даты поставьте.

Как раз в это время в объединении сдавали новый дом, но в списке моей фамилии не оказалось. Я возмутился, а мне в ответ:

– Что вы хотите? Вы только что женились, и детей у вас нет, и заявление только что подали. Ждите, пока построим новый дом.

В те годы дома строились, если даже строились, не как сейчас, а чуть ли не десятилетиями. Я считал это несправедливым и подал жалобу на контору в суд; дело проиграл. Сегодня не хочется писать, что все было оттого, что много выступал, или оттого, что был чеченцем. Нет! Потому что сегодня, когда в руководстве «Грознефти», входящей в «Роснефть», да и не только «Грознефти» – одни чеченцы, ситуация отнюдь не улучшилась... А тогда я и сам знал, и мне

подсказали, что в «Грознефти» у меня более роста не будет, а могут и вовсе уволить или сократить. Кое-какие сбережения у меня уже были, и я тогда подумал – надо в родном ауле дом построить, хотя бы по выходным и в отпуске буду там жить. Но жена об этом и слышать не пожелала, она советовала вступить в кооператив на постройку жилья. А об этом я слышать не желал. Я знал, что за мой добросовестный труд мне должны дать в объединении жилье, ведь другим, даже тем, кто гораздо позже меня устроился на работу, квартиры дали. Поэтому я искал справедливости, а мне вдруг, как молодому коммунисту и специалисту, предложили поехать осваивать новые месторождения нефти огромной страны – там и зарплата побольше, и желанные квадратные метры сразу дают.

Мне на выбор дали три направления – Западная Сибирь (Нижневартовск), Сахалин и Туркмения. Сахалин – очень далеко – сразу же отпал. Я выбирал между Западной Сибирью и Туркменией, а жена сказала: давай возьмем отпуск, полетим посмотрим на месте. Как мне теперь кажется, я тогда дважды прогадал. Во-первых, потому что уехал, очень плохо сделал. А во-вторых, потому что выбрал Туркмению. А выбрал Туркмению по двум причинам. Наш вояж был в начале весны. В Нижневартовске погода – просто ужас: днем – плюс пять, ночью – минус двадцать, и такой ветер... Сам городок – просто поселение, даже аэропорт какой-то сарай, и порядочной гостиницы нет, и питание весьма сомнительное.

В общем, не раздумывая отправились в Ашхабад, а там по весне вся пустыня тюльпанами цветет, просто сказочный ковер с самолета виден. И предложили мне сразу же квартиру, правда, в Красноводске. Поехали мы туда через цветущую пустыню. Там уже жарко, зато море есть, икра черная, должность – начальник смены. А вот зарплата не намного больше, чем в Грозном, но я ведь получил ключи от квартиры. Она еще пока даже не собственность – по договору я десять лет отработать должен, но это жилье, это первое в жизни мое жилье, а я ведь уже не молод. Правда, в этой небольшой двухкомнатной квартире уже стояла несносная жара, хотя лишь апрель в середине, и я пребывал в сомнениях: меня зарплата и эта жара никак не устраивали, но жена, смущаясь, сообщила – ребенка ждем. Как без жилья?

25 декабря, утро

Опять проспал завтрак. Это хорошо, что сон теперь крепкий, значит, вроде бы спокоен. Хорошо и то, что голоден, аппетит есть. А плохо то, что кормят плохо. От этих полуфабрикатов... А еще из хорошего – много сообщений на мобильном. Меня вспоминают: от дочери аж три послания. Они вроде сухие – «Дада, как ты? Почему не отвечаешь?», да сколько в них ныне для меня желанного. А вот послание от Маккхала – оно и хорошее, и плохое. Он говорит, что уже в прокате заказали мне фрак для концерта дочери. Какой

фрак, какой концерт? Эти здоровые люди не понимают проблемы больных, тем более таких ущербных, как я. Все эти концерты я с некоторых пор ненавижу... Все из-за дочери. А если теперь ради дочери на концерт пойду, то от моего вида и запаха вся эта солидная европейская публика разбежится – все моей дочке испорчу. Да и лететь в какую-то Австрию... Лучше домой. Тем более что оттуда не совсем радостные вести. Пишут, в горах такой мороз установился. Мой родник ледяной бородой оброс, но не сдается, течет. Он никогда не сдавался. Мой табун, говорят, домой пришел. Благо, что я много сена купил. Вот только за пасеку боюсь. Выдержат ли пчелы эти холода? Кажется, я им в достатке корма оставил. А будет мед, они не замерзнут. Кстати, небольшую баночку моего меда я и сюда принес. Каждый день открываю – аромат альпийских цветов! Я глаза закрываю и ощущаю сладкий, вкусный, завораживающий нектар горных соцветий, всю раду красок и оттенков, эту щедрость, непокорность, величавость, красочность и суровость гор Кавказа...

Как я хочу домой!

Тот же день, до обеда

Звонил доктор, радиодоктор – так называемый утренний обход. Сообщил, что фон радиации еще очень высокий. Надеется, что еще день – и все станет нормально. Обещал, как его и просили, выписать меня 26-го. Еще два дня. Как-

нибудь потерплю. Хотя тревога возрастает. Какой концерт? Словно я перед европейской публикой должен давать концерт... А если честно, даже не верится, что моя дочь выступает в Европе. Молодец! Все-таки добилась своего. Нелегко ей это далось, ой как нелегко. Всем нам нелегко далось. Но она выстояла. Вопреки всему. Вот судьба! Жалко, мать не дожила до этого. Как она об этом мечтала. Сама сценой всю жизнь грезила, дочери внушила. А я был против. А сейчас... Судьбу не обманешь и не изменишь. Надо было мне раз и навсегда определиться – то ли я современный россиянин, и смысл жизни один – как бы побольше бабок срубить и можно, даже лучше, за бугор свалить, то ли я иной...

Словом, конечно, все это крайности, да в жизни, оказывается, такое случается, что вспоминаешь, и плохо становится.

Тот же день, после обеда

Звонил радиодоктор. Видимо, он увидел в своей следящей камере, как мне плохо. Мне действительно плохо было, очень плохо. Воспоминания растеребили душу, а потом обед, но аппетит пропал. Я все же попытался с помощью насоса все в себя впихнуть, и тогда началось... такое со мной после операции всегда случалось. Теперь вроде бы прошло, давно не было, и вот – на тебе. Такая острая, жгучая физическая боль, что ты обо всем забываешь, никаких душевных эмоций и переживаний. Вот такой парадокс – жизнь доказы-

вает, что душевная боль давит, но ты как-то живешь с ней, пока живой, а физическая боль невыносима. И тогда понимаешь, что твое тело или животный инстинкт гораздо слабее твоего духа и в жизни, по крайней мере в этой жизни, преваляет над всем. А иначе я разве еще жил бы и хотел бы жить, хотел бы есть, пить? Лучше об этом не думать. Я должен внушать себе, что со всеми, и прежде всего с самим собой, в гармонии, в спокойствии, в мире и добре. В основном это меня и спасает – в последнее время я бываю в состоянии относительного покоя. Да порою срываюсь, внутренне срываюсь, и тогда долго не могу прийти в себя, сам себя съедаю, угнетаю, во всем корю, жить не хочу. Однако на сей раз спас мой радиодоктор. Во-первых, он видит меня, и я, как горец, обязан взять себя в руки, не корчиться на кровати, как слабачок. А во-вторых, радиодоктор стал задавать свои дурацкие вопросы из анкеты – диссертацию пишет. Пусть пишет, правильно пишет, а я ведь тоже пишу. Отчего-то я хочу писать, я, кажется, пытаюсь то ли оправдаться, то ли некий отчет своей жизни представить. Кому? Самому себе. Ведь я виноват. Я – глава семейства, и, значит, я виноват. Хотя...

Тот же день, вечер

Только что звонила дочь. До этого мы послали друг другу сообщения. Видимо, она уловила мое состояние, набрала номер мобильного. Столько говорила, плакала. А я ее успо-

коить не могу, в ответ мычу. Ей ведь плакать никак нельзя перед таким концертом. И дело не только в этом... Все-таки она как-то нормализовала мое состояние. Первый признак – я захотел есть, то есть наполнить чем-нибудь желудок. А потом даже включил телевизор. Мир радуется, готовится к Новому году. Почему-то мне все, что показывают по телевизору, кажется пошлым обманом. Хочется увидеть реальную картину жизни.

Моя камера не тюремная, есть даже большое окно. Правда, оно не открывается, бронированное. И вид не ахти – впритык плоская крыша какого-то здания, там лиственный мусор, накопившийся за десяток лет. Ну а если на подоконник поставить несколько книг и залезть, то метрах в ста четко видна Профсоюзная улица. Уже десять вечера, а в обе стороны такая пробка, столько машин... Интересно, сколько времени тратят москвичи в пробках? Небось значительную часть суток. То ли дело у меня в горах! А народ все равно сюда рвется. Почему? Здесь деньги, соблазн, развлечения, цивилизация. Все это брехня, иллюзия и галлюцинации. Здесь человек не может быть в спокойствии и гармонии. Здесь жизни нет и не может быть... Впрочем, это я так считаю; ныне так считаю и уверен в этом. А по молодости?

Красноводск – город совсем небольшой, уютный, тихий. Однако я уже через месяц понял, что совершил большую ошибку, – уже в конце мая установилась такая жара, что жить невозможно. Я сразу же написал заявление на увольнение,

мол, беременная жена климат не выносит, и мы уже были на пароме через Каспийское море до Баку, а там до Грозного рукой подать, и оттуда – в благодатные, родные горы, где свежо, тепло, прохладно и как раз в это время все цветет, благоухает. Однако – судьба, от предписанного не уйдешь. На море был шторм, паром еле заметно качало, а у моей жены и так токсикоз, а от этой качки ей совсем плохо стало, потеряла сознание. Тут не до путешествий, повез ее обратно прямо в больницу. Хорошо, что ее хоть для сохранения ребенка госпитализировали, ведь свою квартиру я сдал, думал – обрубаю концы, а остался на улице и без работы. Ситуация была не из простых, но тут на связь вышел мой однокурсник Максим. Он тогда был аспирантом в Москве, а на лето в качестве командира стройотряда собирался ехать в какую-то сибирскую глухомань – ему я нужен был как товарищ, ну и подзаработать предложил. Я даже не раздумывал, да и вариантов не было. Снял для жены в Красноводске однокомнатную квартиру, а сам полетел к Максиму в Москву.

О стройотряде я, может быть, еще отдельно напишу, а вот Максим еще в Сибири вдруг вспомнил, что в Красноводске работает заместителем директора «Нефтегазогеологоразведки» его родственник, кстати, грозненец, и я с ним визуально знаком. Поэтому по возвращении в Красноводск я сразу же к нему обратился, а он задал мне лишь один вопрос и, узнав, что я вообще не пью, сразу же предложил работу – начальник цеха – и служебную квартиру – больше и лучше прежней,

трехкомнатная, в самом центре, которая по договору через пять лет будет оформлена на меня. Над этим предложением я еще думал – ведь родные горы звали, манили, здешняя жара угнетала. Тут жена говорит:

– Ну куда мы поедем? Кто нас там ждет? Где мы будем жить?

– В горы, – вяло выдал я.

– А там что? Хотя бы крыша над головой есть? А ребенок?

– Тут жара.

– Люди ведь живут... Над нами Бог сжалился, такая квартира, работа, зарплата.

Это был неоспоримый факт, а как же зной? Ну ведь и вправду другие живут и не жалуется. Надо как-то приспособиться, терпеть.

26 декабря, утро

По идее, завтра меня выпишут. Звонила дочь. Она все уже расписала. Ночь я проведу в гостинице, номер забронирован. 27-го меня уже ждут в онкоцентре на Каширке (как мне, да, пожалуй, и почти всем, ненавистно это здание), там тоже оплачено, прочистят мой катетер, и в тот же вечер я вроде бы вылетаю в Вену. Хочу ли я туда? Если честно, хочу. Просто мой вид, состояние, неприятный запах – это не для состоятельных, благополучных, праздных людей. Но дочь меня успокаивает, говорит, что в Европе все очень воспитанные,

вежливые и к больным, особенно к инвалидам, относятся с большим пониманием, состраданием, терпением и уважением. Я ведь никогда в Европе не был. Да и нигде я, в принципе, не был – родился в Казахстане, потом Кавказ, потом застрял на годы в Туркмении, чуть-чуть видел Кубу...

Почему-то я с неким раздражением вспоминаю жизнь в Туркмении. Хотя на самом деле это было, пожалуй, самое счастливое время. Конечно, если не считать мое настоящее и будущее. Последнее я не внушаю сам себе и не пытаюсь своим самообладанием кичиться. Просто я твердо знаю – судьба есть судьба, от нее никуда не уйдешь. А может, что посеешь... А что я посеял? Всю жизнь в труде, в заботе о семье. За годы, что я был в Туркмении, лишь четыре раза выезжал в родные горы. И каждый раз первым делом – к роднику: еще течет, зовет, услаждает и гортань, и взор, и слух... А напьюсь живительной воды, что с тающих ледников по подземным коридорам на мой родовой надел специально поступает, посмотрю кругом, и дух захватывает – не просто жить, а летать хочется. Вот так и хочется разбежаться под наклон и прямо со скалы в бесконечное ущелье орлом полететь. Как хотелось! Как хочется! Особенно когда вспоминал эту просоленную жесткую воду Красноводска, эту несносную жару, эту бескрайнюю пустыню и это бескрайнее море. Это однообразие так угнетало. А жил. Жил, потому что дети. Я ведь их тоже любил, лишь о них думал. Сам сирота, я так за них волновался, все помыслы о них, все им. А дети у нас почти

погодки. Старший родился в 1979 году, через полтора года второй сын, Младший – так мы его называли, а потом дочь, моя любовь и краса, и с первого дня у нее был такой звонкий, хрустальный голосок, как у моего родного родника, что я ее так и назвал – Шовда!² Моя жена, как я уже сообщал, все время грезившая сценой и артистической карьерой, теперь вынуждена была думать о детях. К тому же в небольшом Красноводске как такового и театра нет, лишь заводской дом культуры, куда она попыталась устроиться на работу, – но я запретил. Тогда ее песни зазвучали на кухне и даже с балкона – соседи были в восторге. Однако и на балконе петь я ей запретил. К тому же, хотя я и не особый знаток, мне казалось, она талантом не обладала. Но и она уговориться не могла, вдруг предложила устроиться на работу в детсад, где были наши дети. Эту идею я поддержал, хотя позже выяснил, что в садик она принята как музыкальный работник. Как она могла обучать пению, если сама закончила лишь один курс (замуж вышла) музыкального училища, на гармошке чуть играет и, по-моему, знанием нотной грамоты особо не блистает. Зато она как-то воскликнула: «У нашей дочери абсолютный слух – я сделаю из нее великую певицу!» На это открытие я даже не обратил внимания, а жена попросила меня купить фортепиано. Откуда фортепиано в маленьком городке? И вот жена как-то попросилась съездить в Ашхабад, а через пару дней у нас в доме появился черный лакированный

² Шовда (чеченск.) – родник.

инструмент. И мне было очень приятно, что дочь полюбила вначале брэнчать, потом как-то заиграла, а далее и репети-тор стал к ней приходить. На эти музыкальные пристрастия женской половины семьи я особого внимания не обращал, а вот жена заявила, что в этой дыре даже музыкальной школы нет, и как предложение:

– Давай в Ашхабад переедем.

– А почему не в Грозный? – удивился я.

Это уже конец восьмидесятых, начало перестройки. Как я считал, все у меня, то есть у семьи, прекрасно. У нас не только своя квартира, но и дача под Красноводском, я купил машину, есть кое-какие деньги на сберкнижке. И я дал объявление в газету: меняю квартиру в Красноводске на Грозный. К моему удивлению, ни одного предложения. Это был тревожный знак, значит, мое жилье неликвидное. Неужели я и мое потомство навечно будет привязано к этому пустынному берегу? И как продолжение этой же темы – из Чечни позволили родственники: на мой горный родовой надел, о котором я мечтаю и даже он мне снится, кто-то позарился, вроде уже что-то строят или хотят строить. Я ни секунды не раздумывал. Как раз мне полагался отпуск. Написал заявление и поехал, через два дня я уже был в Грозном. Оказывается, Красноводск действительно дыра, край света, и за те четыре последних года, пока я оттуда никуда не выезжал, в стране очень многое изменилось. Вместе с лозунгами «Гласность, демократия, перестройка, выборы» появились новые формы

хозяйствования, какие-то предприниматели, и вот один из таких молодых людей получил некую бумагу, лицензия называется, установил на моей земле вагончик, собирается приглашать иностранцев, и не только их, для охоты, рыбалки, экскурсий, словом, активный отдых, благо что вид и само место уникальны.

В общем, на нашем родовом наделе уже нагажено, а вокруг родника куча мусора, бутылки и прочий хлам. Моему возмущению не было предела, я просто кипел от злости... Эх, какие были времена, люди и нравы.

Этот молодой предприниматель как увидел меня и мое состояние, сразу же извинился, сказал, что на чужое не претендует, хотя и бумаги какие-то оформил. Он даже мусор весь собрал, вывез, а вот вагончик вывезти как-то у него не получилось – мощный трактор для этого нужен. Так и остался этот вагончик в горах. Пару лет спустя я нашел этого предпринимателя в Грозном, предложил оставить мне вагончик, мол, заплачу. В ответ услышал: вывезти все равно накладно, дарю как компенсацию за беспокойство.

Вот такие были молодые люди. А вагончик и мне мало послужил, хотя и был со всеми удобствами. Я провел в нем всего несколько ночей. Вот такой я был дурак, такой удачей, готовое жилье, не воспользовался. Хотя... В первую чеченскую войну там разместились боевики. А потом авиация поработала. Короче, мне пришлось нанимать большой трактор и вывозить этот хлам, оставшийся от вагончика... Это слу-

чилось лет десять спустя. А тогда, в конце восьмидесятых XX века, передо мной стала дилемма – закрепиться в родных и милых сердцу горах или ехать к семье. Бесспорно, я поехал к семье, и оправдание мне лишь одно – до этого я сумел получить справку в райсовете, что мой надел – мой, принадлежит мне по праву наследства. И хочу подчеркнуть, что никакой взятки я никому не давал, лишь были три свидетеля, которые это мое право подтвердили.

Подводя некий итог, хочу отметить, что если сравнивать нынешнее положение дел с советской властью, то последнюю лучше более не знать. Однако люди в то время, как мне кажется, были человечнее, добрее. А время – конец восьмидесятых, какие-то реформы, почти безвластие, наверное, поэтому я сумел получить эту справку на свой родовой надел.

Тот же день, после обеда

У меня две новости – плохая и хорошая. Хорошая – жажда и сухость почти исчезли, и появился аппетит, думается, я бы барана съел. А плохая, даже очень тревожная – радиодоктор сообщил, и сам был очень взволнован, – радиационный фон еще высок. Но он надеется, что завтра будет все нормально.

А если не выпишут?... Поймал себя на мысли, что как бы я ни лукавил сам с собой, а ведь в глубине души все же хочу поехать в Европу. Хочу хотя бы напоследок побывать там,

узнать, как живут европейцы. Хочу увидеть своего друга и свата Маккхала – мне он очень симпатичен. А более всего, что и скрывать, хочу увидеть дочь. Может, в последний раз. Увидеть на концерте. Все-таки она добилась своего. И теперь я горд за нее и очень рад, что она есть. А ведь пару лет назад видеть ее не мог, и, что скрывать, были моменты, готов был убить... Хотя, конечно, вряд ли я это сделал бы. Но злой был! А теперь – лишь она одна, и что бы я без нее делал? Моя Шовда! Мой Родник! Наверное, волнуется перед концертом. Жалко, что мать до этого дня не дожила. Как она ее к этому готовила, растила, вела.

Помню, приехал из родных мест, показал детям красивые фотографии нашего родника, гор, ущелий, показал для меня очень важный исторический документ – «право пользования по наследству», и дети хоть и малы, но уже в восторге. И я, как могу, пытаюсь им привить тягу к родине, к родному языку, а жена вновь говорит:

– Нам надо из этой дыры срочно выбираться. Детям необходимо нормальное образование дать. А ей, – дочка всегда рядом с матерью, – музыкальное, а тут и музыканта-репетитора нормального нет.

– Мне дочь-артистка не нужна, – неумолимо категоричен я.

– Не артистка, а актриса-музыкант, – не сдастся жена, – и должны же дети нормальное образование получить?

– Должны, – согласен я.

– Тогда надо переезжать в Москву, хотя бы в Ленинград. Там консерватории есть.

– И не мечтай, – уверен был я. – Да и кто нас в Москве и в Ленинграде ждет? Даже на Грозный наша квартира не меняется.

– Тогда Ашхабад.

Ашхабад – это еще дальше от моих гор и Грозного, на целых шестьсот километров, там еще и пустыня Кара-Кум, ехать по которой мне теперь страшно. А тут мой начальник-грозненец, мы уже дружили семьями, словно моя жена его подговорила, тоже говорит:

– Надо постараться перебраться в Ашхабад. Чую, времена наступают хмурые. В этом тупике застрянем – навсегда. И я не могу обмен квартиры на Россию сделать. А если переедем в Ашхабад, все-таки столица, и варианты обменять увеличатся.

– А работа? – мне, как и всем, надо ведь содержать семью.

– Об этом тоже думать надо. Через пару лет я выхожу на пенсию, так что пора позаботиться о спокойной старости. Я уже договорился о переводе в Ашхабад. Хочешь, тебя с собой возьму.

Если честно, то без покровительства земляка, без нашей сплоченности мне было бы нелегко. Потому что некие веяния какой-то свободы из Москвы докатились и до туркменских окраин, и вот туркмены стали повышать голос, стали нас, приезжих, явно притеснять. Казалось, выбора не было,

но он ведь был. Нужно было все, что в Красноводске нажито, продать и ехать в Грозный. Правда, это были копейки, и даже однокомнатную квартиру в Грозном купить бы не смог. А работа? Поэтому среди лета, среди этого зноя, когда кругом жизни нет и жить невозможно, я несколько раз говорил сам себе: надо ехать в обратную сторону, в благодатный оазис, рай на земле – мой Кавказ! И как назло, это теперь назло, а тогда в радость, в Ашхабаде словно меня ожидали. В главке «Туркменнефтегаза» осваивают новые месторождения – запасы велики, нужен специалист по бурению. А вот квартирный вопрос – решать самому. Нашел обмен – почти за такую же квартиру я отдал нашу в Красноводске, плюс дачу и доплату – 1500 рублей. Зато теперь по деньгам – шикарно, оклад вместе с доплатой и премиями почти пятьсот рублей. Однако и работа оказалась непростой, постоянно в командировках – Москва, Тюмень, Свердловск, Москва. А если приехал в Ашхабад, то вновь по всей Туркмении, по месторождениям мотаюсь, дома почти не бываю. За этой беготней я почти не заметил, как страна СССР развалилась, и грянул первый удар – все мои сбережения превратились в ничто. Я был потрясен. Наверное, впервые я с тревогой посмотрел на будущее своих детей, а они как-то незаметно повзрослели: старший уже юноша, а дочка, моя золотая девочка, мой родничок, уже справляет одиннадцать, и моя жена говорит:

– Не волнуйся. Переживем. Лучше послушай, как наша дочь играет, поет. Шовда, покажи даде, что ты умеешь.

Я был очарован, восхищен, ведь она пела на чеченском, и я словно улетел в свои горы – успокоился, расслабился, улыбнулся. А жена говорит:

– Понравилось? По лицу вижу – захватило! Это и есть искусство... Шовда завоевала Гран-при на республиканском конкурсе. Теперь в Москву, на конкурс Чайковского – это мечта!

– Нет! – гаркнул я. – Никаких конкурсов! Моя дочь артисткой не будет! Понятно?! – со всей злостью я ударил кулаком по фортепьяно. Инструмент вроде не пострадал, все убежали в другую комнату, а я где-то с месяц гипс на руке носил.

Тот же день, вечер

Ужин потряс. Столько всего принесли, а еще специально разжиженный витаминный напиток, такой же, как рыбий жир, от которого мне всегда плохо, но пить, говорят, надо, а еще икра черная и красная – мелкозернистая. Я знаю, что это забота зятя, точнее дочери, видать, щедро оплачено, раз медперсонал на такое идет... Только что она звонила, хотела скрыть, но я услышал, что она плачет, как мой родничок зимой, когда все промерзнет, и он как бы белой бородой из сосулек покрывается, но все равно не сдается, помаленьку течет, урчит. Вот и я делаю вид, что не сдаюсь, не унываю, в трубку пытаюсь что-то проурчать. А она еще сильнее пла-

чет. Тогда я отключил связь, написал сообщение – «Все нормально. Спасибо за все». А она: «Неужели тебя завтра не выпишут?» Понятно, что она звонила радиодоктору, и он сказал ей – мол, я излучаю повышенную радиацию. Кто захочет со мной рядом быть? Да и выписать меня никто не посмеет. Клиника американская, и меня ознакомили с положением, где написано, что все обследование ведется с помощью компьютерных датчиков, и выписывают пациентов, когда они становятся безопасными для общения с окружающими. То есть в том случае, если я не излучаю радиацию. Правда, персонал здесь местный, и раз они как-то ухитряются мне кое-что с едой передавать, наверное, и с выпиской что-то могут придумать. Хотя... Хотя вряд ли кто захочет из-за меня репутацию, а тем более работу терять.

А дозу дали действительно лошадиную. Знаю, почему. Теперь, когда уж поздно, стал умнее, у многих врачей проконсультировался, дочь помогла. Оказывается, в онкоцентре сделали операцию так, как могли, как в Америке научили, доктор-коновал разворотил всю гортань, катетер поставил. А вот очаг опухоли, то есть всю щитовидку, не удалил, мол, хотя бы часть этого органа необходима человеку, который еще проживет много лет... Так жить?! Знал бы, как сейчас, никогда бы резать себя не позволил. Однако это все в прошлом, в непоправимом прошлом. А сейчас надо поработать, живот наполнить, благо аппетит у меня есть, это очень хорошо. Все в руках Всевышнего! Завтра фон будет нормальным.

Те же сутки, ночь

По-моему, я понял, почему мой фон высокий. Рекомендовано дважды в день принимать душ. Я и сам хочу, все тело зудит. Но боюсь. Это очень тяжелая и опасная для меня процедура. Была бы здесь хотя бы ванная, набрал бы воды и сел. А под душем... Не дай Бог хоть капелька в катетер попадет. У меня ведь легкие совсем не защищены. И не только капелька, но даже повышенная влажность очень опасна. Я ведь не могу кашлять, тем более откашливаться. А приходится, и тогда так напрягаюсь, что уже давно паховая грыжа с огромный пузырь болит и мешает. Но я ее не удаляю, больше резать себя не позволю. По крайней мере, пока живой. А вот если здесь подохну, то порежут, в морге порежут, ведь им интересно посмотреть, как я изнутри разлагался, – наука, диссертации, деньги. А вообще-то без врачей нельзя. Хотя наши врачи... Без них хорошо, но и без них плохо. А в итоге, как русский классик сказал, – у сильного всегда бессильный виноват... и виноват он в том, что кушать очень хочет.

Очень осторожно искупался. Точнее, влажным полотенцем долго-долго себя обтирал – грязь и радиацию пытался соскабливать. Потом закутался в одеяло, лег спать. Кажется, часок-другой поспал. И чувствую себя неплохо. А ведь был очень грязный и с неприятным запахом... Я это почувствовал, когда стал выданную здесь робу надевать, какая гадость!

И с этой вонью в Европу? А домой, в родные горы?

Если честно, хочу дочь увидеть, хочу побывать на ее концерте. Хотя я всегда был против этих концертов, но жизнь продиктовала свое. И сейчас я понимаю, что действовать вопреки чему-либо, кому-либо нельзя. Нельзя было противостоять процессу развития. Каждый выбирает свой путь – и должен выбирать свой путь, свой жизненный путь. И никто, даже родители, не должны на это особо влиять. Подсказать, посоветовать, помочь, предостеречь – надо. Но не диктат. Ведь уже двадцать первый век, цивилизация. А я со своим адатом и шариатом... Беда в том, что я ведь сам сирота. Не знал родительской ласки, тепла, совета, примера. И хотел, и думал как лучше, чтобы лучше было моим детям. Ведь я ни разу на отдыхе не был, в санатории не был, на море не был. Всю жизнь пахал, горбатился... Сейчас жалею. Надо было отдыхать и ездить, как все нормальные люди. Иногда надо остановиться, отдохнуть, подумать. И новые впечатления нужны, встряска некая нужна... Впрочем, я ни о чем не жалею. Кажется, никому плохого не сделал, ничего никогда не воровал, на чужое не зарился, на кровно заработанные деньги детей кормил. Увы! В итоге ничего не заработал, даже на свою жизнь, и теперь живу на подаяние. Дочь помогает. Все-таки не сдалась она, молодец. Теперь молодец. А тогда?

А тогда... Советский Союз развалился. Туркмения стала вроде независимой. Мне сказали, что руководитель моего ранга обязан знать туркменский язык, даже надо сдать экза-

мен, мол, впредь вся документация будет вестись на турецком языке. Не знаю, как сейчас, но при мне все по инерции шло лишь на русском. Тем не менее меня по приказу в должности понизили и зарплату урезали, а работы даже стало больше. А главное, отношение ко мне и таким, как я, то есть русскоговорящим, стало нехорошим. Раз или два возник некий дискриминационный конфликт. Восхвалять себя не буду, но собою помыкать не позволил. Сразу же написал заявление об увольнении. И этот, как я думал, смелый, а по факту просто отчаянный шаг я совершил оттого, что из Грозного поступали очень радостные вести.

Чеченская Республика получила чуть ли не суверенитет и независимость. Избран президент-генерал, теперь мой кумир. И я рвался домой, но как быть с жильем? По моему объявлению на обмен немало предложений, но Грозного и даже Северного Кавказа нет. Есть Украина, Армения, Азербайджан, Казахстан и почти вся Сибирь, вплоть до Камчатки, да мне туда, как говорится, не надо. Для разведки я поехал в Грозный. Вот где произошла революция – новая власть, бушевал перманентный митинг в центре Грозного. И так же, как в Туркмении, русские, то есть русскоговорящие, в массовом порядке продают квартиры и выезжают. Правда, в Чечне есть одно отличие, выезжают не только русские, но и чеченцы.

Я в политику не встречаю, хотя, если честно, многие факты меня беспокоят. Во-первых, сама атмосфера совсем не

радужная – в целом народ очень встревожен, и царит явное беззаконие. Во-вторых, я, как человек постоянно работающий, не могу понять: масса людей постоянно на митингах – кто их кормит и как они будут кормить свою семью? И, в-третьих, все только и говорят о нефти как национальном богатстве. Но ведь ее не так и много, и ее ведь надо добывать, транспортировать, перерабатывать, а специалисты выезжают прочь... У меня еще были знакомые в «Грознефти» – встретился, поговорил. С ходу предложили самую тяжелую и ответственную должность – начальник УБР (управление буровых работ) и предупредили – почти у всех задолженность по зарплате семь-восемь месяцев, денег нет, да я знаю, что такая ситуация почти по всей стране, даже в Тюмени, поэтому дал согласие. Есть и значительные плюсы – жилье в Грозном стоит теперь очень дешево. Я написал заявление на работу с отсрочкой в один месяц, пока переберусь из Ашхабада. А в Ашхабаде проблем оказалось еще больше. Жилье тоже резко подешевело. Но у меня вроде бы квартира неплохая, и спрос есть, и цена по грозненским меркам устраивает. Однако в Туркмении тоже новая власть, независимость, тот же кризис распада СССР, резко перешли на местную валюту – манат, последний за пределами Туркмении ничего не стоит, инфляция галопирует, и самое страшное, официально манат на валюту не меняют, а если эти доллары, которые я впервые увидел, есть, то их вывозить из Туркмении строго запрещено. Наверное, впервые в жизни я пошел на преступление, а

иного выхода не было. Продал квартиру за манаты и, рискуя, не без боязни и страшных переживаний, кое-как у каких-то менял на базаре умудрился обменять часть манатов на доллары – всего семь тысяч. Больше долларов я найти не мог, да и опасно было, и я послушался свою жену, оказалось, не зря, на оставшиеся манаты мы купили женские украшения – золото и брильянты, чего у нее никогда не было и в помине...

Теперь предстояло самое тяжелое – пересечь границу. Можно было самолетом из Ашхабада в Москву, но я понадеялся на своих знакомых в Красноводске и решил воспользоваться паромом. До сих пор точно не знаю – может, грешу, – но мне кажется, что эти-то мои знакомые и навели на нас таможду, а иначе быть не могло: я так спрятал валюту, что туркменские таможенники почти час ее в нашем багаже искали, видно, знали, что она где-то есть. В общем, жену и дочь, что были обвешаны золотом, и мальчиков – отправили, а меня задержали. Теперь это порою вызывает усмешку, ведь тогда меня наверняка отпустили бы, конечно, присвоив себе несколько купюр, да вот таможенники, в отличие от меня, в долларах разбирались – оказывается, вез-то я сплошь подделку. Вот и началось. Не только контрабандист, но и фальшивомонетчик...

И во время депортации, и позже, в армии, я два-три раза попадал в изоляцию, в карцеры. И я уже знал, что туркмены порою бесчувственны, но такой жестокости и бесчеловечности, таких условий ареста и следствия я даже предста-

вить не мог. Почти под открытым небом, то есть под солнцепеком летом и в стужу зимой – лишь решетки вокруг, и отношение – как к заразно больной, бешеной собаке. Допросы были, а вот суда никакого. Видимо, просто я им надоел, и меня через пару месяцев отпустили – отдали одежду и паспорт. Я даже не хочу вспоминать, как я не мог еще много дней выехать из Красноводска, – никто в долг не давал, то ли вправду так обеднели, то ли не хотели со мной, как с контрабандистом и фальшивомонетчиком, общаться. Дождался денежного перевода из Грозного. Уезжая, я твердо знал, что более никогда в Туркмению нос не суну. Жалел ли о годах, проведенных здесь? Не знаю... С одной стороны, нас депортировали в Среднюю Азию в экстремальные условия, а я сюда позже добровольно приехал. А с другой, у меня здесь родились и выросли дети. И жил, и работал я здесь спокойно, хорошо зарабатывал. Однако распад державы – это, конечно же, затронуло всех, а иначе и быть не могло. Вот так словно оборвалась жизнь, все перевернулось, поменялось. Тогда мне было очень тяжело. И если бы я знал, что меня ждет впереди, то тогда бы я точно смеялся. Впрочем, надо смеяться и радоваться каждому дню! Все пройдет и проходит. Как и эта ночь. Скоро рассвет. Что покажет датчик? Выпишут ли меня сегодня? Все-таки я волнуюсь. Надо поспать, надо отдохнуть. Только здоровый организм поборет радиацию.

Неужели через пару дней я увижу дочь! Ее концерт... Спать. Нет, еще пару слов. Сегодня меня выпишут. Даже ра-

ди себя меня радиодоктор выпишет. Как-никак Новый год наступает, и я знаю, что он должен лететь в Америку, в Майами, там у него жена, две дочери, квартира, а здесь он просто зарабатывает деньги. Правильно делает.

... А эти записи останутся здесь. И если кто-то, такой же, как я, несчастный пациент, возьмет их в руки, а может, и прочитает, то заранее прошу прощения. Все это от безделья. Время убиваю. А если честно – готовлюсь. Пишу некий отчет. Отчет моей жизни, как некое оправдание, покаяние, а может, как говорится, соломку пытаюсь подстелить. Тщетно. Прощайте. Дай Бог вам терпения, мира, добра, гармонии, выздоровления. Держитесь! А еще я желаю вам, чтобы вы, как и я, мечтали о будущем, оно прекрасно! Я верю в это, даже убежден. Чего и вам искренне желаю.

Аминь!

27 декабря, день

Уважаемый мой товарищ! Мой последователь! Если ты листаешь мои записки, то уже, наверное, догадался, что произошло. Меня не выписали. Думаю, что мой радиодоктор и медсестра были расстроены не меньше меня. Хотя это меня по их милости весь день ломает. Накануне ночь не спал. Свое волнение этой писаниной отпихивал. А потом, после завтрака, места себе не находил. А радиодоктор позвонил – фон ужасный. Он всегда такой веселый, жизнерадостный, а тут я

со своей радиацией. И как я понимаю, показания компьютера они изменить не могут и меня выписать не имеют права. Я хоть и злой, да пытался держаться, пока дочь не позвонила. Плакала. Потом Маккхал звонил. А я в ответ мычал, как бы их успокаивал. Послал сообщение, вновь успокаивал. В общем, все планы насмарку. Концерт будет без меня, и это хорошо; для меня это было бы мучение. А я сейчас думаю об ином, о своем состоянии – оно ужасно. Ибо как только я узнал, что не выписывают, я тут же стал во все прицеливаться, во все «стрелять». Даже на подоконник залез и «обстреливал» всех, кого видел на Профсоюзной. Конечно, это был срыв, нервный, очень продолжительный психоз, и я кое-что, а может, многое не помню. В такие моменты я начинаю всем подряд посылать по мобильнику сообщения. Зачастую это всякие глупости, а еще хуже – угрозы. С ужином я получил пилюли, это я тоже не помню или еле помню, но я их, видимо, машинально вовнутрь вогнал, электронасосом пользовался. Отключился, часок-другой поспал и вот встал, пытаюсь занять себя писаниной, пытаюсь успокоиться, но все равно глаз прицел ищет, и я всюду крестик в кружочке рисую: вот так (+).

Мне надо успокоиться, надо заснуть. Надо быть в гармонии с самим собой. Надо! Надо со всеми быть в гармонии. Если бы мог говорить, если бы я мог услышать свой голос, свою успокаивающую речь, но этого больше не будет. Осталось лишь одно – писать, оформлять с помощью букв

свои мысли. Гармония! Спокойствие. Аутотренинг. Мне надо лечь. Спать!!!

Может, все-таки выпишут? Эта радиация... Зачем мне дали сразу две капсулы? А тут еще зять. Приехал из Европы ради меня. Он, наверное, тоже хочет на концерт дочери попасть. Все-таки такое событие! Грандиозно! Только сейчас я могу, не лукавя, признать, что хочу, очень хочу на концерт попасть, триумф ее воочию увидеть, эту радость с ней разделить. А ведь я, дурак, дикарь, всю жизнь был против ее концертов, боялся, что она станет артисткой, пугался ее этих призрачных бдений на сцене. Хотя... постоянно пишу «хотя», потому что судьбу-то не обмануть, и надо было наоборот – развивать детей, давать им большую самостоятельность и активность. Ведь был наглядный пример.

Пока я в Туркмении сидел, моя семья кое-как до Грозного добралась, а там ведь ни кола ни двора. Поселились они у сына дяди Гехо. И хорошо, что жена думала об образовании детей, всех сразу в школу отвела, а дочку – и в музыкальную, она еще существовала в Грозном, но преподавателей, музыкантов, артистов не хватает, интеллигенция бежит, а моя жена работу нашла в музучилище и дочку стала выводить в музыкальный свет. И вот Шовда выступила на каком-то торжественном концерте. Было много гостей, был и новый президент Чечни, да он генерал, – а вот новый министр культуры сразу все понял, пригласил Шовду с матерью к себе, сказал, что девочку надо развивать и ясная для нее

цель – поступление в консерваторию. А когда узнал о наших семейных делах, то сделал максимум из того, что мог, – выделил без оплаты аж две комнаты в Доме актера.

Дом актера – это что-то вроде общежития или гостиницы. В итоге как уехали мы из общежития в Грозном, так и приехали много лет спустя в общежитие Грозного. Это моя сегодняшняя оценка произошедшего, а в то время для меня и моей семьи это было огромное подспорье и благо. Вот что значит своя родина, свой министр. А моя дочь?! Тогда и после я о какой-то консерватории и ее артистической карьере даже думать никому не позволял. Я тогда был молод, полон сил, профессиональных навыков, всегда тяготел к труду. Мне надо было кормить семью, а иного помысла в жизни и не было. Сразу же пошел в «Грознефть», зная, что соглашусь на любую работу, а мне продемонстрировали мое давнишнее заявление – начальник УБР, а специалисты все так же бегут, и задолженность по зарплате – более года. Но я иного не знаю, я нефтяник, и раз нефть добываем, машины на бензине ходят – то и деньги должны быть. С таким оптимизмом я вышел на работу. А там такое творится – почти анархия, все раскурочено, все разворачивается, все распродается, и это понятно: зарплаты нет – и труда нет, поэтому добыча нефти резко сократилась, а то сырье, что по трубе на завод поставляется, еле доходит. В первый же день я насчитал пятнадцать точек самодельных врезок в нефтепровод, откуда по ночам автоцистернами нефть воруют. А сколько при этом

этой нефти проливается... Об экологии никто не думает: эту ворованную нефть на каких-то самодельных примитивных установках варят – низкопробный бензин и дизельное топливо за копейки реализуют, а основную массу, мазут, просто сливают прочь... Уже ощущалось, что грядет не только экологическая катастрофа, но и портится экология душ. Как и все, кто вернулся в республику из других мест, я понимал, что выбранный новой властью путь ведет в пропасть. И моя жена потихоньку ныла. Но это моя родина, и куда я поеду, где и кому я нужен? И денег нет – живем, точнее существуем, за счет продажи купленных в Ашхабаде драгоценностей, но и их никто не берет, а если берет, то словно за туркменские манаты, так обесценивается российский рубль, инфляция бешеная, а мне семью кормить надо. И я ничего придумать не могу, как заработать, а работать я умел, потому что по жизни, с раннего детства, лишь от этого качества зависело мое существование.

Не так, как в прежние времена, и не так, как должно было быть, по идее, но по добыче нефти мое УБР вышло на первое место. Но зарплату нам все равно не платят – обещают, вот-вот, мол, идет начисление, потерпите. И мы терпели бы. Однако злость в ином: нашу нефть, что отправляем мы по трубе на хранилище, безнаказанно воруют. Несколько раз я обращался в службу внутренней безопасности, потом в милицию. Эффект был. Ко мне явился некий тип и предложил деньги, сказал, что каждый месяц все, кто в трубу врезаются,

будут для меня складываться – типа, моя доля. Этого наглеца я просто выгнал. А сам по ночам стал ездить вдоль трубопровода. Оказывается, эти молодчики вооружены. Но я не спасовал, зато здорово получил, с сотрясением в больницу угодил.

Об этом я пишу сегодня спокойно, даже с неким достоинством, потому что в то время я, да и каждый, мог за себя постоять, ответить. Я знал, кто меня избил. Мои родственники, а главное, дети дяди Гехо меня здорово поддержали. Нет, мы никого не били, но еще сохранялся традиционный этикет, и передо мной старейшины и еще много чужих людей так долго извинялись, что мне самому стало неудобно. Я всех простил, но заявление в прокуратуру не отозвал – каждый должен отвечать по закону.

То ли законы уже вовсе не действовали, то ли откупились, да никакого суда и следствия не было, а мне сказали, что по адату и шариату вы, мол, примирились.

– Мы примирились, – сказал я, – но по закону он все равно ответит... Ответит, когда сюда вернется советская власть.

– А что, она вернется? – удивились все.

– Вернется, – процедил я.

Забегая вперед, отмечу, что под иным соусом, да вернулась. Началась война. В Грозном к руководству русские пришли. И меня нашли, на работу позвали, ведь война войной, а нефть добывать надо, очень дорогой к тому времени стал этот продукт. Но я не об этом. Сквозь руины, еще шла вой-

на, я пошел к прокурору, к русскому прокурору, помню, он был сибиряк. С собой понес справку судмедэкспертизы, свидетельские показания и прочие документы, кои тщательно хранил. Я просто исполнил данное самому себе слово и даже об этом забыл, а тут вдруг, оказывается, моего давнего обидчика в компьютер занесли и на одном блокпосту задержали. Ой как я пожалел. Этот воришка, понятно – харам³, сколько нефти ни воровал, а в хибаре жил, и ту разбомбили. А мне, не говоря уж об остальном, пришлось четыре раза на суд в Ставрополь ездить, и я каждый раз в устной и письменной форме отказывался от своих показаний, мол, давно простил, но его осудили за хищение госсобственности – три года колонии общего режима. Чем не советская власть?!

Те же сутки, вечером

Понятно, что меня и сегодня не выписали. А день был очень тяжелый, и мне очень стыдно. Эти проклятые камеры наблюдения! Вроде бояться надо лишь Бога, он всё видит, а тут все за мной следят. Мой вечно веселый радиодоктор сегодня такой злой. Еще бы, у него билет на завтра, а меня радиация не покидает. Все утро он мне звонил, с обедом какие-то сверхредкие и дорогие, как он сказал, пилюли прислал. А потом отчитал:

³ Харам (арабск.) – грех.

– В кого вы там постоянно стреляете, целитесь? Вы, чеченцы, помешались на войнах. Хватит воевать! Успокойтесь! С таким настроением и напряжением и без капсул радиационный фон будет... перестаньте всех убивать, как ребенок в войнушку играете.

Что на такое ответишь? Я даже не промычал в ответ. Под видеонадзором и консультацией радиодоктора закачал моторчиком пилюли в живот – ох как они прожгли все нутро. После этого водопроводную воду заливал, словно пожар тушил. К счастью, все быстро прошло, и потянуло ко сну. Но я не вырубился, потому что от первого же звонка вскочил – дочь, моя Шовда, как родной родничок, тихо плачет. Я в курсе проблемы – у меня и зятя билеты на ночной рейс в Вену. С зятем у меня контакта нет, в этом отношении, впрочем, как и в остальном, я консервативен, а вот дочери и свату Маккхалу послал сообщения, даже приказ – пусть зять улетает. Концерт! Как я ненавидел эти концерты. А теперь очень мечтал попасть – увы!..

О, моя клетка, моя камера чуть приоткрылась – ужин.

Те же сутки, вечером

Для меня прием пищи – это действительно прием, и не надо думать, что здесь, несмотря на огромную плату, хорошо кормят. Тем более что кормят в зависимости от состояния здоровья или по какой-то особой диете, как в моем случае.

Нет, здесь все как в экономклассе самого дешевого самолета. Общий стандарт, чтобы с голоду не помереть. Но за меня помимо платы за лечение еще солидно доплачивают, и мой рацион на зависть богат... Да беда в том, что я это разом поглотить не могу, даже здоровый человек не смог бы, а холодильника здесь нет, не предусмотрено. Еда портится. А я и сам «благоухаю», а тут еще эти запахи. В итоге я пытаюсь, когда контейнер после еды забирают, набить его остатками еды. Тогда порою контейнер застревает, начинает медсестра звонить, материться. Вначале меня это даже смешило. А теперь выводит из себя, и я мычу, потом начинаю бить в дверь – камеры все видят, и меня предупреждают, если еще буду буянить, то никто не зайдет – для контакта я еще опасен, а вот какой-то анестезирующий газ пустят – и хана, вмиг успокоюсь. Ко мне этот операционный газ еще не пускали. Но когда я лежал в прошлый раз, кому-то из соседней палаты, видать, запустили, а я и здесь еле высидел – такая отравка, неделю глаза слезились. А мне глаза сейчас ой как нужны. Очень нужны. Я буду стрелять, должен стрелять, и не дай Бог промахнуться с первого, максимум со второго выстрела – тогда все, жизнь насмарку...

Нет. Я смогу, я не промажу.

Те же сутки, полночь

По-моему, я схожу с ума или сошел... Это от одиночества.

Хотя... я ведь люблю одиночество, избегаю людей. Так это в родных горах, где мне говорить, точнее мычать, не надо. Они – мой родник, мои горы, мои ущелья, мой воздух, мое солнце и моя луна, как и мои орлы – все меня слышат, понимают, со мной общаются, подсказывают, успокаивают, то есть говорят: прости всех, ведь только Всевышний всем судья! – а ты посмотри вокруг, как красиво, вечно, величаво; да, и здесь бывают бури и ураганы, как и в жизни людей, и порою такой вихрь, свист, свирепый дождь, град, снег, что кажется – все сметет, смочет, унесет, но все пройдет, все проходит, а эта буря только очищает нас, делает воздух чистым, а камни блестящими, ледники свежими; и мы по-прежнему, как и тысячу лет до этого, живем в гармонии и согласии, и ты так живи, живи в гармонии с нами и с самим собой.

Ведь так я и жил, жил, несмотря ни на что, даже в таком состоянии жил и даже удовольствие от жизни получал... Правда... правда, иногда, как буря в горах, наступает временное затмение, психоз, и тогда я – за свою «винтовку», и целюсь во все, и стреляю во все – это я готовлюсь, готовлюсь к единственному и главному бою в своей жизни.

Мечь, реванш, возмездие!

Нет! Я в этой камере сойду с ума. Надо успокоиться. Лекарства!

28 декабря, утро

Ночью вогнал двойную дозу лекарств. Потом даже пытался сделать аутотренинг. Видимо, успокоился, вырубился. На завтрак еле разбудили. Звонила дочь, у нее сегодня концерт, а она плачет, говорит, что чувствует мое состояние. А мне действительно плохо. После каждого припадка, психоза все болит, особенно голова. А тут радиодоктор звонил. Сказал, что не доверяет внутреннему прибору, так как и сейчас фон радиации еще очень высокий. Меня выведут к основному прибору. Надо подготовиться. Надо успокоиться. Не оставлять же меня здесь на Новый год.

Те же сутки, ночь

Стыдно. Мне очень стыдно. Сорвался... Кое-что я даже не помню. Я даже не знал, сколько времени прошло. Позже все восстановил, тем более я эту простую процедуру уже проходил...

Моя дверь автоматически открывается, иду по знакомому мрачному, пустому коридору, захожу в открытый кабинет, сажусь на стул. Передо мной стеклянная стена, понятно, что это не простое стекло. За стеклом, я уже вижу, сидит мой радиодоктор. Я привык его видеть веселым, улыбающимся,

а на сей раз он очень озабочен, даже зол. Он наводит на меня какой-то аппарат. То ли я вижу, то ли мне кажется, что меня прошивает лазерный луч.

Радиодоктор бьет кулаком по столу, вскакивает, что-то кричит, понятно, что матерится. Он жестикулирует, чтобы я поднял телефонную трубку, что на стене, а более тут ничего и нет.

– Скиньте одежду, – он еще матерится. – Может, это с одежды радиация.

Я скинул робу, так называемую майку, а он, я вижу, орет и показывает:

– Все снимай!

Мне неудобно, я замешкался. Тогда он сам продемонстрировал, что я должен делать, – ужас! Но я вроде терпел, хоть и страшно нервничал, да беда в том, что помещают в камеру только в их особой одежде – это какая-то странная нетканая материя-бумага. И все простыни, одеяло, подушки – все из этой бумаги. И вот, раздеваясь, я брюки порвал. А следом увидел себя в стекле – урод, тощий скелет. Жалкий, жалкий инвалид! И я собираюсь кому-то мстить. Как? А тут смотрю – радиодоктор, как орудие, вновь на меня свой лазер направил. И мне вдруг показалось, что я прямо сейчас умру, – такой безобразный, да еще и голый. Тут я стал второпях одеваться, злясь, я эту так называемую одежду-бумагу почти разорвал. А этот идиот все еще в меня лазером целится, и тут я, видимо, сорвался, стал в него «стрелять». Он вскочил,

вижу, орет, у виска пальцем крутит.

Точно не помню, но, кажется, я попытался это стекло-пепергородку разбить, по крайней мере, на руке синяки. Потом я выскочил в коридор и рванулся к входной двери. Тут я точно помню, что вроде очнулся, потому что сообразил, что я полностью голый. Побежал обратно в смотровой кабинет, взял свою бумажную одежду и рванул в свою камеру – как в место спасения, и когда за мной тяжелая дверь автоматически захлопнулась, я почувствовал некое облегчение, и тут зазвонил внутренний телефон:

– С таким психозом радиация не пройдет, – почти визжал радиодоктор, – вы хотите лечиться или нет? Я не могу вас выписать с таким фоном. Показатели с компьютера в режиме онлайн видят и в американском центре. Я из-за вас торчу здесь и не могу улететь к семье на Новый год.

– Э-эуу! – замычал я грубо в ответ, по правде, хотел выматериться, а радиодоктор выдал мне эту же матерщину, только понятно. Я бросил трубку. Вновь звонок, и я, как по команде, вновь поднял.

– Вы хоть оденьтесь, а то на вас смотреть тошно.

Я бросил трубку, замычал. Захотел вырвать эту камеру из-под потолка, пододвинул кровать, залез, до камеры не достал, упал, ушибся, но не сдавался. Стал кидать в камеру книги, телефонные аппараты, что были сложены в углу, и тут услышал какое-то шипение – из-под плинтуса, как ядовитые языки змей, полз грязновато-зеленый пар...

Очнулся я от холода. Лежал голый на полу. Еще темно, да столица рано перед Новым годом просыпается, уже шум с улицы. И в моих ушах гул, шум, как морской прибой, видимо, в такт биения моего неугомонного сердца. Голова трещит, и дышать тяжело, а жить хочется, и хочется лишь оттого, что я должен, должен за сына, за сыновей, да и за всех родных – отомстить, а более некому. Знаю, что с таким настроением не то что лечиться, но и жить невозможно, вновь будет срыв, психоз. А надо быть в гармонии со всеми, с самим собой и всех простить. Смысл этого мне вроде понятен. Однако это спокойствие тоже не жизнь, ведь это просто плебейское существование, когда каждый, кому не лень, кто при власти, деньгах и оружии, может сотворить с тобой, а еще хуже – с твоими близкими, все, что захочет, – это почти рабство или крепостничество. Как с таким можно смириться, жить, жить в гармонии? А надо, надо! Ибо дочь позвонит... Кстати, она ведь звонила. Столько пропущенных вызовов... Как прошел ее концерт? А вот я разве не устроил концерт? Все любовались.

Зачем я это пишу? Стыдно.

29 декабря, утро

После такого срыва, а тем более газовой атаки, я, наверное, долго не пришел бы в себя, да увидел на зазвонившем телефоне номер дочери и внутренне собрался – ведь она да-

же по моему мычанию и дыханию определяет мое состояние. А мне стало гораздо легче – концерт прошел великолепно. Моя Шовда, мой родничок, очень довольна, и я очень рад, даже счастлив. Она довольно долго со мной говорила, все рассказывала. А потом заплакала – жалко, что меня не было, и я знаю, как бы она хотела, чтобы мать это все увидела, дожила...

Потом звонил Маккхал. Он тоже в восторге. Вновь напомнил, что теперь у Шовды вынужденный отпуск, может, даже на год. Подробности мы не обсуждали, не принято, и я даже писать об этом боюсь, боюсь сглаза. А впрочем, кто это прочитает? В общем, я надеюсь – скоро стану дедушкой...

О таком и писать приятно, и думать приятно, и даже мечтать о чем-то хорошем, то есть о будущем, начинаешь. Однако есть еще и внутренняя связь.

– Вы поломали все мои планы, – строго говорит радиодоктор, – из-за вас я уже дважды билет на Майами сдал. А теперь, под Новый год, цены в разы выросли, и билетов нет. Там меня семья ждет. Завтра мы должны всех выписать. А вас выписать я не могу, с такой радиацией это невозможно. В американском центре все контролируют, меня уволят. Возьмите себя в руки, успокойтесь... Если бы вы выпили спиртного, и вам кайф, и радиация бы ушла... Вот же дурак! Выпью вместо вас, мне без этого нельзя... За ваше здоровье!

Я в камеру помахал рукой, а сам думаю об Америке. Хорошо, что хотя бы они контролируют этих идиотов. Ну и ра-

ботники! Своих детей там стараются хорошо содержать. Это – кто может. А могут-то не все... Впрочем, какое мне дело до Америки. Я в свои горы хочу. А по правде, и в Европу хотя бы на день-два хочу. Может, более дочь не увижу – диагноз такой.

Тот же день, утро

Вновь звонила дочь, вновь плачет. Плачет иначе. Оказывается, она звонила радиодоктору, все узнала. Ну как я ее успокою? Послал сообщение. А следом догадался послать сообщение и радиодоктору – мол, я напишу заявление с просьбой выписать меня по собственному желанию.

– Да я бы вас и без вашего заявления выписал, – орет радиодоктор. – Но ваш анализ напрямую виден в Америке. И выпускать вас – преступление, вы радиацию передадите окружающим.

«А что Америка так о нас печется?» – написал я, а радиодоктору писать лень, он позвонил:

– Дело не в Америке, а в фирме. У них бизнес, и они свою репутацию берегут.

О! Вот так. Оказывается, еще есть понятие репутации, чести. А моя честь?! Нет! Мне нельзя нервничать. Я дал слово дочери, что буду себя беречь. Я спокоен, спокоен! Бог всем судья... И что я только о плохом думаю, вспоминаю, ведь и в моей жизни были радостные моменты.

Помню начало 1993 года. И, конечно, восхвалять самого себя неприлично, да вряд ли кто, разве что такой же, как я, больной и шальной, эти записи прочитает, так что могу похвастаться – навел я порядок на своей трубе, ни одной врезки, и лишь у меня одного такое. В этом, правда, мне помогли сыновья дяди Гехо – они мне были как братья. Я написал «были». К сожалению, это почти так и стало, хотя формально мы еще поддерживали отношения. Не буду о грустном.

В общем, в Чечне, как, впрочем, и во всей России в начале 90-х, – полный бардак, все рушится, разворачивается, разбегается, а мое УБР в передовиках, нефть мы добываем и качаем, а нефть во все времена нужна, немало стоит, но нам деньги почти не поступают – все предлагают всякий бартер, типа обмена, как при натуральном хозяйстве. Я пару раз по наивности и глупости на этот обмен клюнул, а потом, это было перед Новым годом, взял и перекрыл трубу: денег нет – нефти нет. Вызвали на совещание в министерство. Министр заявил, что уволит меня. Я сказал, что согласен, только пусть рассчитаются по зарплате со мной и коллективом.

– У всех зарплаты нет! – заорал министр.

– Я живу в общежитии, а как вы покупаете квартиры, дома, даже в Москве? – был мой ответ.

Понятно, что я в этом конфликте не победил бы, да в тот же день всех вызвал президент-генерал. Последний, при всех плюсах и минусах, имел одно достоинство – хапугой не был. А когда мне слово дали, я не стал сор из избы выносить,

лишь сказал, что ныне экономика ведь вроде рыночная, за нашу продукцию надо платить, зарплаты почти год не видели. А президент-генерал, видимо, в курсе дел, и он вдруг у меня спрашивает:

– А где вы с семьей живете? В общежитии? А вы где и как живете? – это уже вопрос к министру.

В тот же день был назначен новый министр. Сказать, что он был лучше, никак нельзя. Просто такова должность – и такие люди в министры стремятся. Я это говорю оттого, что мне позже дважды, при разных обстоятельствах, предлагали возглавить эту наиважнейшую отрасль, – я наотрез оба раза отказался, зная, что там без всяких махинаций просто невозможно. А я и возглавляемое мною УБР от того протеста или демарша значительно выиграли. Наши отношения с министерством стали по договору хозрасчетными. До нас довели план добычи – это как оплата аренды недр, а что сверх плана – на то мы должны, как сумеем, жить. Мы добычу увеличили, были резервы, а куда нефть сбывать? У меня никогда не было предпринимательской жилки, и я, если честно, даже таким людям, то есть торгашам, не особо доверял. А тут появились коммерсанты, предлагают свои услуги, и среди них сын дяди Гехо, которому я, разумеется, отдал предпочтение, но строго на договорной основе, все официально.

Сын дяди Гехо сразу же нарушил условия договора – задержал расчет почти на полтора месяца. Я сказал, что родство родством, а работа есть работа – за мной коллектив и

семья, а мне почти по таким же ценам дают уже и предоплату. Тогда сын дяди Гехо рассказал, как было. Оказывается, он погнал нашу нефть на переработку. Пока этот процесс шел, время ушло, зато он получил большие доходы и предложил мне долю, то есть взятку. Я его обругал, пристыдил. И если бы не его просьбы и моя память о дяде Гехо, я бы с ним более не работал. Однако в следующем договоре мы уже на четверть подняли цену реализации. Во всей отрасли нехватка специалистов, а ко мне очередь. У нас солидная прибыль, реальные деньги и распределение пропорционально зарплате по штатному расписанию. Я получаю больше всех. Через полгода я уже миллионер. Это потому, что галопирует инфляция и буханка хлеба стоит сотни рублей. Жена советует перевести российские деньги в валюту и купить жилье, только не здесь – все продолжают уезжать, образования практически нет, еще хуже с музыкой, дочери почти не у кого учиться, а главное, очень высокая преступность, почти анархия и беспредел. По поводу валюты я даже слышать не могу – боюсь. Образование действительно стало очень слабым, по детям вижу – отлично учатся, а ничего не знают. А уехать... я уже уезжал, и не раз, и чем это кончалось, помню. Я на своей родине, другой нет и не будет, и я своим трудом стараюсь ситуацию улучшить, и она улучшается, потому что я в один день приобрел почти все.

У нас в объединении (теперь, как и все прочее, это назвали гордо – министерство нефтегазовой и химической про-

мышленности) с давних-давних пор, почти всю жизнь, работал очень уважаемый человек, специалист, коренной грознец, русский. Последнее не хочется подчеркивать, да пришлось... Вот и он уезжает. Уезжает не из-за страха, по крайней мере, так говорит, а потому, что все дети, родственники и знакомые выехали, его зовут. Он продает все: очень добротная, с мебелью, четырехкомнатная квартира в самом центре Грозного, во дворе гараж с почти новой машиной; еще домик от тещи остался на окраине. Дом неказистый, но частный сектор, все мило, зелено. И это не все, еще хорошая дача в пригороде, с домиком. И все это я купил, не торгуясь. Правда, было единственное условие – я обязался лично вывезти его библиотеку и, главное, деньги до Краснодара. Сам продавец везти боялся – вот такие времена, но я не хочу о грустном... Хотя бы сейчас. Ведь я все разом тогда приобрел. Вроде бы стал преуспевающим человеком. Иллюзия?! Они тоже в жизни бывают и очень нужны. Ведь сама жизнь – это иллюзия! Сказка, рассказанная и повторенная бесконечное число раз. И, как ни крути, конец печален. Однако я, и я верю в это, попытаюсь эту предопределенность поломать. Аминь!

Тот же день, после обеда

Право, мне очень неудобно, что из-за меня страдает человек, мой радиодоктор. Я вновь послал ему сообщение, что

готов написать заявление на добровольную выписку.

– Я вас прошу, успокойтесь, – звонит он мне. – Только здоровый организм может отторгнуть радиацию... Все от нервов. Приобретите гармонию, надо быть спокойным и счастливым. Почитайте нашу книжку-инструкцию.

– У-у, – замычал я. Как можно быть счастливым и гармоничным в моем состоянии?... Однако за мной наблюдают и еще подсказывают:

– А еще лучше, когда вы пишете... Кстати, а о чем вы пишете? Наверное, мемуары. Я тоже, когда выйду на пенсию, мечтаю писать о себе, все-таки это, возможно, интересно, да и память детям.

– У-гу, – поддакнул я, а сам подумал, о чем может написать этот радиодоктор? Что в его жизни было такого, разве что такой, как я, идиот не дал вовремя выехать в Америку к детям на Новый год. А он мне об этом и стал говорить, то есть упрекать, и вновь звучит как совет:

– Да-да, вы пишете. Когда вы пишете, то явно успокаиваетесь, по крайней мере внешне так выглядит... Завтра фон просто обязан быть нормальным, и я должен улететь. Я уже трижды сдавал билет на самолет. Знаете, сколько это стоит? А мои нервы? Я ведь тоже человек, хочу свою семью, детей, жену увидеть.

– У-у, – виновато мычу я в ответ. Если бы мог сказать, сказал бы, что семья должна быть рядом, а не в Америке. Впрочем, сам почти так какой-то период жил, вынужден был

жить. Об этом лучше не думать, не вспоминать и тем более не писать. Это не успокоит. И тут меня осенило, а может, радиодоктор подсказал. Я решил вечером принять душ, точнее некие по возможности допустимые водные процедуры, они, наверное, смоют с меня весь этот радиационный фон.

30 декабря, полночь

Действительно, когда я сажусь писать, я немного успокаиваюсь... А накануне я принимал водные процедуры, думал – всю грязь смыл, даже крепко заснул, а сегодня – увы! Вновь мой радиодоктор орал, будто я сам этот радиодоктор от себя не отпускаю. А я, к моему удивлению, был несколько спокоен, потому что звонила моя дочь и сообщила – пусть радиодоктор особо не возмущается, на его личный счет еще раз переведена крупная сумма денег. Теперь мне неудобно и перед дочерью. Я представляю, какие это суммы, а ничего поделаться не могу. А до ужина вдруг позвонила медсестра и загробным голосом сообщила, что радиодоктор получил добро из Америки и, на радостях даже толком не попрощавшись, убежал, поручив надсмотр надо мной ей одной.

– Теперь из-за всех я должна здесь сидеть... Новый год на носу. Ко мне гости приехали... Как вы все мне надоели.

Я виновато в ответ промычал и послал сообщение, мол, простите, не хотел, и поинтересовался, есть ли еще кто-нибудь из больных.

– До Нового года всех выпишут.

«А меня?» – пишу я.

– Это не я решаю... Завтра вместо нашего доктора будет другой, только он, и то по согласованию с американским центром, может вас выписать. Решит, опасны вы для общества или нет.

Вот так и не иначе – оказывается, я – больной, инвалид I группы – опасен для общества. Заразен. Изолирован.

– А вы успокойтесь, – теперь медсестра дает наставление, – хорошо питайтесь и пишите. Доктор сказал, что когда вы пишете, вы даже выглядите спокойнее и лучше.

31 декабря, утро

Даже в этой палате, изолированной от всего мира, я чувствую и ощущаю, как вся Москва, весь мир готовятся встретить Новый год. Я же лишний на этом празднике человечества. По этому поводу я мало переживаю. Никогда праздники не любил. Более того, я всегда на праздники, особенно когда был начальником УБР в Грозном, заступал на дежурство – так было надежнее... Вспоминаю новогоднее дежурство с 1993-го на 94 год. А впрочем, не хочу вспоминать и об этом писать.

Кстати, теперь и медсестра – она отныне мой начальник, кормилец и прочее – тоже настоятельно рекомендует писать – так я спокойнее выгляжу. А вот доктор, который должен

был заменить радиодоктора, не объявился, и даже медсестра по этому поводу ворчала, а потом объявила, что сегодня обед будет праздничный, даже двойной, а после обеда она уходит и появится только второго января, потому что она тоже человек, у нее гости, должна к их приему готовиться. А я должен терпеть, выжить, не баловаться.

– Вас в режиме онлайн даже в Америке постоянно видят, – сообщает она мне. – Так что ведите себя пристойно... С Новым годом! А вы пишите, пишите – так спокойнее, это и доктор вам прописал.

«Есть ли кто кроме меня здесь?» – послал я сообщение.

– Есть... Одна старуха. За ней должны приехать. Сама не уйдет.

Тот же день, вечером

Все-таки и я получил новогодний подарок – неожиданно появился контейнер с ужином. Послал сообщение медсестре – разве она не ушла?

– Нет! Эту старуху не забрали. Никто не приехал за ней! – злость в трубке внутреннего телефона.

Через минут пятнадцать-двадцать она перезвонила:

– Все, – голос более спокойный. – Я более ждать не могу...

Все перекрываю. Присматривайте за старухой.

Это прозвучало как идиотский приказ и меня очень рассмешило. Как я могу за кем-то присматривать, если сам в

полной изоляции... Вот дела! Радиодоктор оставил вместо себя другого доктора, который так и не объявился, осталась медсестра, которая перепоручила все мне. В общем, я здесь хозяин. Вот так выглядит американская клиника, но в России. Правда, в московских больницах на любой праздник, и даже на Новый год, медперсонал пусть и не совсем трезвый, но всегда есть. Да это так, к слову, а я сыт, спокоен, ничего не болит, и я очень рад, что никого нет и никто за мной не наблюдает в камеру. Хотя и сказали, что даже в американском центре меня видят в режиме онлайн, – это вранье. Нужен я американцам, если и здесь до меня ныне дела нет, – понятно, Новый год... Я чувствую, я слышу эту предпраздничную, точнее уже праздничную, атмосферу.

Лучше включу телек.

Новогодняя ночь

Кажется, за годы ничего не изменилось. Что показывали по телевизору в новогоднюю ночь двадцать лет назад, почти то же самое и сейчас, даже артисты вроде те же, хотя время, время неумолимо бежит. А праздник ощущается. Я даже не думал, что меня столько людей будут поздравлять. Звонила дочь, звонил Маккхал из Европы, звонили родственники и знакомые из Чечни. Конечно, все поздравляли, справлялись о здоровье, и все как бы по-праздничному, но был и тревожный звонок. В связи с этим и я послал несколько сообщений.

Дело в том, что на мой участок, точнее не только мой, но и соседские, кое-кто зарится. Место уникальное, живописное, благодатное, и вот кто-то додумался на этом месте курорт построить. Словно в горах иных мест нет. Я, конечно, догадываюсь, кто это затеял. Хотя, может быть, это и не так. Во всяком случае я изо всех сил пытаюсь этому противостоять, да какие у меня теперь силы и что я могу? Если честно, то эти претензии на мой родовой надел не просто портят, но отравляют в последнее время мою жизнь. Я не могу и даже боюсь об этом думать, понимая, что я ныне бессилён. Вот такие времена. Какое-никакое, а новогоднее настроение испортили. Спать уже не смог, к тому же с улицы все нарастающий гул. Ровно в полночь я услышал залп орудий – понятно, что это салют, но я салют из своего места заточения не вижу, а лишь слышу залпы, которые напоминают прошедшие войны в Чечне. Они прошли?... Для меня вряд ли, потому что они, как положено войне, полностью изменили мою жизнь, и это началось более десяти лет назад, вот так же в новогоднюю ночь...

31 декабря 1993 года в полдень я заступил на дежурство по УБР, понимая, что в республике ситуация очень криминальная. Даже по сводкам «Грознефти» можно было понять, что хаос и беспредел набирают обороты, люди беззащитны, преступники безнаказанны. А я, словно живу в ином измерении, пытался все это не замечать – мое дело трудиться, нефть добывать и прокачивать на завод. И вот во время

дежурства в новогоднюю ночь я заметил, как давление в трубе стало резко прыгать, падать. Вероятная причина – кто-то сделал врезку, нефть воруют. По заведенному порядку я должен сообщить в службу безопасности, а милиция фактически была неработоспособной. Мне по рации ответили (а иная связь в республике не функционировала), что только утром выедет наряд – ночью небезопасно. Это значит, что воры выкачают в свои бензовозы десятки тонн нефти, почти столько же прольется мимо люков машин... Я решил проехать вдоль трубы, примерно зная, где возможна врезка. И тут автоматически-пулеметные очереди – Новый год наступил, снег идет, красота. Я вспомнил детей, семью, надо было бы быть в этот час с ними, а я один – к грабителям, а они наверняка вооружены. Но я уже выехал и вряд ли развернул бы машину, лишь по рации сообщил направление. Диспетчер категорически отговаривал меня ехать, а я, наоборот, заупрямился – и вправду мало чего боялся, ведь за мной правое дело. А рация вновь и вновь пиликает. Тут мое сердце екнуло, я рацию включил, а там о другом:

– Ваша жена только что была здесь. Вашего сына похитили.

Как кувалдой по голове. Резко нажал тормоз, машина заглохла. Минуту, а может, гораздо больше, я просидел, пребывая в какой-то прострации, пытаюсь сообразить – как мне быть?... И что я сделал? Я поехал исполнять свой служебный долг. Я знал, что грабители вооружены, что их человек

пять-шесть, но я был очень зол, словно они воруют не только нефть, но и причастны к похищению моего сына. Впрочем, в более поздние времена, когда народ от войн, хаоса, беспредела и безнаказанности очерствел и, что греха таить, набрался некой дикости, со мной бы в такой ситуации очень просто разобрались – кокнули бы. А тогда я этих злоумышленников не только прогнал, но и в запальчивости порукоприкладствовал. А рука у меня тяжелая, Бог дал мне природную силу. Только не думайте, что я сам себя как-то стараюсь обелить. Лишь для самого себя пишу, знаю, что эти записи никто не прочитает. А в ту ночь, как положено, до утра продежурил, поехал домой, и когда понял, что ситуация серьезная, написал заявление на отпуск. Ни я, ни кто иной не слышал, чтобы в Чечне когда-либо людей воровали. А тут беспредел – всё воруют, вот дошли и до такого. Если честно, то я даже представить не мог, что моя семья может попасть в поле зрения таких бандитов. Ведь я просто труженик, живу, как я считал, трудом праведным и никаких излишков не имею. Видимо, тут сыграло роль, что нефтяник, какой-никакой, а начальник. И я знаю, что благоденствовали многие начальники поважнее меня и попрacticalнее, то есть богаче. Однако позарились на меня – посчитали слабым, беззащитным. Последнее просто угнетало меня. А состояние сына? Ему всего пятнадцать – какой физический и психологический надлом! Как он? Где он? И вообще, живой ли? Такое пережить нелегко, но ради сына надо, надо мобилизоваться, надо быть

готовым к ударам судьбы, даже к бою. Но с кем?

На что-то надеясь, я первым делом обратился с заявлением в прокуратуру и милицию, там лишь зарегистрировали мое отчаянье и в бессилии пожали плечами – их не финансируют, зарплаты нет, даже служебный транспорт заправить нечем. Словом, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Надежда только на самого себя, и я заметался. Что я только не делал и куда только не ездил – никаких следов и признаков, даже зацепиться не за что. А самое тяжелое – состояние жены. При мне вроде держится, да на заплаканном, разбитом горем лице все написано. И тогда я ей предложил: уезжай куда хочешь, уезжай – туда, где музыкальная школа есть, да и мне в одиночестве, наверное, стало бы полегче, ведь я теперь и за остальных членов семьи боюсь. А она ни в какую...

Ровно через месяц, день в день, вот так они рассчитали, нам подбросили записку. Выкуп – 250 тысяч долларов. У меня и двух с половиной тысяч не было, а если бы и были, ни копейки не дал бы. Да дело двинулось, как у нас, бурильщиков, говорят, – вышли на пласт. Хотя записку подкинули ночью и машина была без номеров, да в республике не так уж много черных BMW, к тому же крыло побито. А мы ведь тоже не просто так сидели – ждали этого момента, этого контакта, и даже попытались бандитское авто перехватить, но мерзавцам как будто терять нечего – пошли на таран, а машина у них мощная, крепкая, просто отшвырнула мою «Ни-

ву» и словно растворилась в ночи, оставив на асфальте стойкую гарь, как след не только машины, но и их жизни, и их черных дел. И по этому следу, словно ниточка в руки попала, медленно, как бы по-пластунски, боясь их вспугнуть, буквально пополз я по выбранной ими же жизненной тропе, и с каждым движением, по мере приближения к ним, мне становилось все ужаснее и ужаснее, вплоть до тошноты и омерзения. Это были не просто нелюди и бандиты, это были подонки и отморозки, вооруженные не только оружием, но и всякими новыми псевдорелигиозными догмами, и в их головах (а души у них не могло быть) – не любовь к Богу и к людям, а зависть и ненависть, алчность и злоба, наглость и трусость, безумство и болезнь, тщеславие и страх, которые они хотели заглушить таблетками, анашой или насваем. Чем больше я узнавал об этой банде, тем становилось страшнее, страшнее за остальных членов семьи. И тогда я буквально в приказном порядке потребовал, чтобы жена с двумя детьми из республики выехала, выехала туда, где есть порядок и какая-то власть. Жена выбрала город Ставрополь. Во-первых, рядом, а во-вторых, как позже выяснилось, туда на жительство выехала учительница Шовды по музыке. Вот так. Даже в самые тяжелые дни жена все же думала о музыкальном образовании дочери, и маленькая Шовда уже лишь об этом думала и мечтала. Но мне тогда было не до музыки. Правда, с отъездом семьи у меня словно руки развязались, и что я сделал в первую очередь? Купил оружие. Много-много разнообраз-

ного оружия. Оно свободно продавалось – на любой, как говорится, вкус и цвет. Однако все же это конфликт, вражда, война, а я, в принципе, один. Конечно, вокруг меня сыновья дяди Гехо, родственники, односельчане и люди моего тейпа, но это не близкие родственники, и подвергать их риску, а потом и подводить к кровной вражде я не хочу и не могу, хотя они днем и ночью возле меня. А тут вновь получаем послание – бандюги на то и бандюги, совсем обнаглели – две недели срок, не то убьют... И еще подбросили видеокассету, на ней мой сын совсем худой, грязный, жалкий, плачет, просит меня о помощи.

Я готов был с кем угодно воевать, драться, умереть, но если я, как дурак, погибну, то что далее? Как остальные выживут? Надо было подумать, сосредоточиться и хоть немного успокоиться. Поэтому решил поехать в родные горы, а там все по-прежнему – тихо, величаво, грациозно, вечно.

Попил я там родной родниковой воды, подышал чистым воздухом, налюбовался альпийскими просторами, полазил по скалам, увидел много дичи, особенно гордых одиноких орлов, и я не то чтобы успокоился, чуть свое горе позабыл, нет, но я как-то иначе посмотрел на ситуацию, как бы со стороны на самого себя, и понял одно – я ведь не бандит и не хочу им стать. Значит, оружие мне ни к чему. А эти горы и жившие и живущие здесь люди и не такое видали, надо мне оставаться тем, кто я есть, надо терпеть и ждать – все как-то разрешится, на все воля Божья. С этой чуть обогревшей

мыслью я вернулся в Грозный, а там количество украденных людей увеличилось. И неизвестно, действует ли одна банда или их несколько. Но мне тогда казалось, а сейчас я уверен в этом, что все они как-то были взаимосвязаны и эта вакханалия какими-то силами поощрялась, одобрялась и поддерживалась.

Денег на выкуп у меня нет, и даже если я все продам, то и треть не наберу, да и кто в Грозном жилье ныне купит – все распродают. Я понял четко одно, что оружие мне не поможет, а, наоборот, только усугубит мое положение, в конфронтации с безликой бандой я проиграю, а более того, кого-то из родственников убьют. В общем, я решил от купленного оружия избавиться, да у меня его никто не берет, все оружие лишь продают. А держать дома такой арсенал я тоже не хотел, казалось, что оно само по себе стрелять начнет, и вот я взял все это смертоносное хозяйство, отвез в родные горы, тщательно замуровал в прорезиненный, добротный брезент, который мы используем на буровой против ржавчины, запрятал поглубже в расщелине скалы, у моего родового надела в горах. К этому времени закончился мой срок отпуска – я мог его продлить, но не захотел, подумал, что работа как-то отвлечет, поможет. Так и случилось, потому что через пару дней, абсолютно не таясь, в моем кабинете появились двое молодых людей, один явно спортсмен, здоровый. Они современны, если судить по одежде, уверены, даже нагловаты, бородаты, что в моде, и пистолеты за

поясом, что тоже не диковинный атрибут времени. Понятно, что они не представились, но сказали, что в курсе моих бед и дел, что к похищению однозначно непричастны – мол, их удел бизнес. Предлагают взаимовыгодную сделку: вместо 250 тысяч долларов – 250 тонн нефти, всего пять «бочек»... Они еще что-то хотели сказать или сказали, но перед моими глазами вырос образ моего несчастного сына, и я даже тогда все не помнил, а сейчас и не хочу вспоминать. Просто я был в таком бешенстве, что умудрился как-то перепрыгнуть через стол и этого, что говорил, чуть ли не придушил. Они бы не ушли, ведь у меня в приемной сидел сын дяди Гехо и еще пара моих работников. Но и эти пришельцы были не одни, во дворе еще одна машина, и все вооружены. Столкновение было нешуточное, жесткое и жестокое. Те, что во дворе, страховали, были с автоматами, стреляли; больше в потолок, но все же моего работника ранили. А я, с разбитой головой и из носа кровь, бессильно матерился в окно вслед мчащимся машинам – обе одной марки BMW. В тот момент я жалел, что нет оружия... Чуть позже, забегая вперед, скажу, что раскопал свой давнишний арсенал, словно откопал томагавк войны. Вот такие у меня ныне времена, хотя вроде бы и мирные. Однако об этом и думать не хочется, а тот конфликт в моем кабинете стал как бы кульминацией всего процесса.

Дело в том, что одного из приехавших наши работники узнали. Оказывается, это был сын одного из известней-

ших нефтяников республики, который ныне на пенсии. Его я очень хорошо знал, очень уважаемый человек, отец большого семейства. Вот и поехал я к нему в тот же вечер с перевязанной головой. Со мной сын дяди Гехо и еще пара родственников. Старый нефтяник жил, как и работал. На окраине Грозного у него небольшой, но добротный дом, и, как мы уже выяснили, рядом, занимая почти весь квартал, живут восемь его сыновей – уже взрослые, семейные люди. Тот, кого я пытался придушить, – спортсмен, в их семье предпоследний, его нет, а вот пятеро старших вокруг престарелого, но еще крепкого отца сидят как монолит, почти все вооружены – атрибут времени.

Без особых церемоний и вступлений я все как есть им изложил.

– Ты хочешь сказать, что наш брат причастен к воровству твоего сына? – жестко спросил меня старший сын.

– Да, – в тон ему ответил я.

Все братья вскочили.

– Сесть! – приказал им отец, костылем слегка ударил по ноге старшего сына.

Наступила долгая, тягостная пауза.

– Кха-кха, – кашлянул старик. – Гм, до девяноста двух лет прожил, а такого в моем доме не слышал и не представлял, что услышу...

– Это ложь! – выдал сквозь зубы старший сын.

– Замолчи, – здесь командует отец.

Как бы от тяжести мыслей опустил старик голову на крюк посоха, надолго задумался и потом уже охрипшим голосом:

– Под самый конец жизни – такое... Мы тебя выслушали. Это серьезное обвинение, с которым тяжело, даже невозможно жить. Нам надо разобраться.

На следующий день, вечером, я сидел на работе и, как говорится, нутром чувствовал, что с сыном что-то творится. Я решил срочно ехать в горы, выкопать оружие и в бой, со всеми в бой... я этого старика-нефтяника в заложники возьму! Вот какие завихрения бывают, а вдруг я на это пошел бы? А мог. Но жизнь – она ведь всегда непредсказуема, зигзагообразна – я даже не помню кто, да мне сообщили – сын дома. Как я мчался. А он грязный, худой, жалкий, но все же улыбается, и первое:

– А где мама? А младший? А Шовда где?

Как передать те чувства, которые я в тот момент испытывал. А ведь если посмотреть с позиции сегодняшнего дня, какое это было хорошее время! Парадокс жизни и времени.

А тогда, а тогда я был страшно встревожен, удручен. С одной стороны, я не знал, каким образом сына освободили и как. Могли быть всякие нюансы и действия со стороны бандитов. А с другой стороны, я видел, в каком физическом, а главное, психологическом состоянии был мой старший сын. Я не мог на него спокойно смотреть, а он жалобно попросил:

– Отвези к маме... Я не хочу здесь жить... Не хочу!

Я тоже не хотел, не мог, мне не давали жить дома. На сле-

дующий день я написал заявление об увольнении и уехал с сыном в Ставрополь. Его надо было лечить, да я и сам был на пределе, потерял за последние два месяца более пятнадцати килограммов, аппетита нет, бессонница, нервы... В таком же состоянии была и родная Чечня в середине 1994 года. До чего же нас довели! Сейчас это трудно понять, но тогда, как только моя машина выехала за пределы моей республики, мне просто стало легче и свободнее дышать – ощущение, что просто успел уползти от несущейся с вершины снежной лавины...

Позже, еще до начала войны, я узнал, что сына-спортсмена старого нефтяника нашли застреленным в собственной машине в центре Грозного. И еще были какие-то кровавые разборки в этой банде. И как неизбежное последствие всей этой вакханалии в конце года началась настоящая война...

1 января 2006 года, утро

Все-таки свобода – великая вещь. Обычно в восемь утра – завтрак, и хочешь не хочешь, а надо вставать. Контейнер надо вернуть, не то медсестра начнет звонить, ругать. А сегодня медсестры нет, завтрака нет, и никто будить не будет, а я, как назло, до зари проснулся. Проснулся от непривычной тишины. Такая тишина, словно вся Москва вымерла. Видно, все спят после новогоднего празднества. От удивления я даже на подоконник залез – Москва почти пустая, ни души я

не увидел за пять-семь минут, что я наблюдал Профсоюзную улицу, где вечно пробки...

Как приятна тишина. Конечно, это не та завораживающая тишина, что в родных горах бывает, и все же. Все же приятно... А в горах! Как я рад, что они у меня есть. Там такая тишина! Сказочная, райская, завораживающая и уносящая в бесконечность, в вечность, во вселенский беспредельный простор. Помню, после операции я уехал в родные горы. Тоска, голод, есть не могу – через катетер не только есть, пить, но и дышать тяжело, не могу привыкнуть. И ходить не могу, и сил совсем нет. Лишь одно мог – сяду на солнышке и люблюсь исполинским видом, этой каменной незыблемостью, этой грандиозностью, неприступностью, неизменной величавостью. От этого масштаба и вечности чувствуешь себя совсем букашкой, ничтожеством, зная, что дни твои сочтены. Вот-вот родственники и соседи начнут рыть могилу, и положат меня среди холодных, влажных камней, такими же камнями забросают, и почти совсем некому будет на мою могилку прийти. В таких грустных раздумьях и сживал я часами на родовом наделе: родничок журчал, речка из ущелья шептала, и тишина, словно гробовая тишина в горах. И я так обожал эту тишину слушать, ею наслаждаться и ее любить, так же как я любил свои горы, и они полюбили меня, и тогда мне раскрылась великая тайна, та тайна, которая раскрывается лишь любимому человеку, любимому существу. Оказывается, горы говорят! Меж собою говорят, с космосом

говорят, со всем миром говорят. Говорят только с тем, кто их может понять, принять, услышать, любить, ценить, уважать. Это только кажется, невежде кажется, что горы – это каменные истуканы, застывшие на века. А на самом деле горы – это красота и источник жизни, это – колыбель человечества, это – первозданность и недоступность, это – богатство земли и ее очарование, это – опора, на которой держится земля, на которой держится небо, и посредством гор земля общается с космосом и со всей Вселенной. Лишь в горах можно где-либо сесть и часами любоваться, восхищаться и наслаждаться прелестью и бесконечностью мира. И если ты горы искренне любишь, то услышишь, как они поют, для тебя поют. И я их услышал. Услышал их исполинский, величавый, гордый, добрый и вечный голос. Они звали к себе, манили к себе, ублажали, успокаивали и возвышали. И я понял их глас – все пройдет: и хорошее, и плохое, и жизнь пройдет, и смысл ее в том, что все в познании, в гармонии, в вере в себя и во Всевышнего. И все в этой жизни, вплоть до смерти, будет впервые, но ты в своих мыслях, в своих делах, устремлениях и надеждах всегда должен быть выше, должен быть устремлен ввысь, в вечность, в бесконечность, понимая, что твоя жизнь, как и время, пространство и мысль – бесконечны! Как бесконечно таинство мироздания и миропорядка. Но чем выше ты в своих помыслах, тем более и более раскрывается перед тобой сокровенное очарование тайны жизни, а не существования и бытия. Стремись вверх, как горный цветок к солнцу.

Подними голову навстречу заре. Иди вверх, а не падай ниц... И я пошел, пошел вверх по склонам родных гор. Но как идти, если в ногах сил нет – ватные, если дышать не могу – страшная одышка, и катетер аж засвистел, если сердце со стоном задергалось, как у воробушка, зажатого в кулаке. Я считал каждый шаг. Думал, после ста шагов вверх – отдохну, а я после первых десяти свалился. И такая боль – сердце заныло. Представил – к моим болячкам еще инфаркт, и что тогда?...

В ожидании страшного я прилег на склон, думал, если сердце успокоится, осторожно пойду, поползу вниз, в свою хижину – я уже не ходок, тем более по горам. И пока я об этом думал, барабанный бой в ушах стал все тише и тише, ровней, и я явственно услышал голос гор:

– Разве ты не горец? Ты хочешь ползти? Ползти вниз? Такова твоя мысль? Мысль упадничества, холуя... Пусть твое тело истерзано, разбито, немолодо. Но ведь мысль, воля, душа, мечта – всегда должны быть чисты, юны, добры и красивы! Они должны парить над землей, должны быть устремлены ввысь, в вечность и бесконечность, и тогда... тогда твое брненное хилое тело вначале поползет, а потом и взлетит вслед за волей, мыслью, душой, мечтой! Вставай! И живи хоть день, но стоя на вершине, – это благородней, чем ползать, тем более валяться в болотах низин.

И я встал. И не то что пошел, но как-то двинулся, обливаясь позабытым, горячим, обильным потом, – и этот пот мо-

его родного тела вроде тот же, но и не тот, он воняет лекарствами, что я последний год каждый день принимал. Конечно, не сто и не десять шагов я делал, а шаг, еще шаг – отдохну, осмотрюсь, и вновь шаг за шагом, да вверх. Конечно, даже ближайшую вершину, на которую я по молодости почти взбегал, я в тот день не покорил. Да, я понимал, что при моем состоянии я сделал великое. И как я был счастлив, что в общей сложности я осилил в первый день эти сто шагов вверх. И так устал, что на спуске ноги не выдержали – полетел вниз. Думал, разобьюсь, а главное и самое страшное – катетер вылетит, поломается. Обошлось. На эти первые шаги вверх и кувырки вниз почти весь день ушел, но какое наслаждение я получил, дойдя до родного родника, а вечером все к сердцу прислушивался – выдержит нагрузку или ночью заноеет, ведь все болезни ночью выявляются. А я так заснул, просто провалился, как в юности крепко заснул, и мне всю ночь снился сон, будто я над горами летаю.

С тех пор я почти каждый день по горам хожу. Теперь очень хорошо хожу, высоко поднимаюсь и у очередного обрыва хочу броситься вверх, полететь... Как я хочу напоследок взлететь, полетать свободно и мгновенно разбиться! Если бы не дочь, не Шовда моя, так бы давно и сделал. Однако сейчас и иные обстоятельства появились. Я хочу, я должен отомстить, а потом... потом обязательно, как в моих снах, в счастливых снах, – полечу, полечу над родными горами, в вечность!

Тот же день, вечер

От предыдущей писанины я так возбуждился, так захотелось в родные горы, захотелось двигаться, просто встряхнуться, и я, несмотря на строгий запрет, сделал довольно продолжительную и усиленную зарядку, с приседаниями и отжиманием от пола гимнастику; в общем, здорово пропотел. Потом водные процедуры, так что аппетит здоровый появился. Благо у меня запасы еды есть. И заснул. Так хорошо, что этой медсестры с ее контейнером сегодня нет. Я сегодня вольный, то есть относительно этих мест вольный человек. И я бы, наверное, еще бы поспал, да Москва, видать, к вечеру первого дня нового года проснулась, ожила, с улицы все нарастающий шум, который теперь до моей выписки не утихнет. Интересно, когда меня выпишут? Завтра будет медсестра, но она меня не выпишет. Это может сделать только мой радиодоктор, и то если мой проклятый радиационный фон восстановится, да и когда он прилетит? А если мой радиодоктор вдруг вздумает отдохнуть, как вся Россия, – до середины января? Я такого не выдержу...

Зря я днем столько спал. Теперь ночью не засну.

Та же ночь

Звонила дочь. Очень радостная. Говорит, что по европейскому ТВ показали концерт с ее участием, очень много положительных отзывов и приятная пресса. К сожалению, мой старый ящик Европу не ловит. А дочь сообщила, что скинула на мой мобильник несколько фотографий с концерта. И как бы она ни подсказывала, казалось, я не смогу все это посмотреть. Однако когда очень надо и хочется... К тому же я ведь как-никак, а инженер... А когда увидел – моя дочь, моя прекрасная Шовда в строгом, шикарном вечернем платье, и столько ей подарили цветов! Конечно, фото небольшое, и не все видно, да мне кажется, что она в этот момент плакала. Плакала от счастья и от горя. Я уверен, что в этот момент она вспомнила маму и думала о ней. Как она вела ее, вопреки всему вела к этому успеху. И моя Шовда плачет, кланяется залу. И никто не знает, знаю только я, что она кланяется своей матери, которая все терпела, все сносила... А теперь ее дочь – чеченская девушка на европейской сцене, и ей аплодируют, ей несут цветы!

Я тоже долго плакал. То ли от счастья, то ли от горя. Даже не знаю, как мои чувства передать. Потом долго, перебирая каналы, смотрел свой ящик. Надеялся, вдруг дочь где-нибудь покажут. Ведь что ни говори, а она гражданка России, и такой успех в Европе... Нет, здесь всюду еще пляшут, по-

ют, вернее, кривляются и паясничают. Сплошь вульгарщина и похабщина. Мужчины – не мужчины, и этим щеголяют. Женщины от этого, видать, озабочены, совсем обнажились, и лишь об одном речь – о сексе. Эстрада! Вот такой сцены, такой эстрады и песни я боялся. А моя жена мне, дураку, иное объяснить не могла, да я и не слушал. А она оказалась упрямой.

2 января, перед рассветом

Всю ночь сквозь набегающие слезы я любовался фотками моей Шовды. Что бы я ныне без нее делал?

Далеко за полночь, точнее лишь под утро, я было заснул, а тут какой-то душераздирающий крик, по-старчески хилый, но очень болезненный. Видимо, моя соседка-старушка, а кто же еще? В отчаянии она колотит чем-то по двери и стенам. Вроде медсестра просила, чтобы я за ней присмотрел. А как я за ней присмотрю? Даже крикнуть в ответ не могу. А ей, видимо, больно, плохо. Да...

Помню, когда мне вырезали гортань, я думал, что несчастнее меня человека нет, даже не раз думал покончить с собой, но потом увидел таких несчастных, что мое горе – и не горе. Вот так – все в сравнении. Лишь бы не крайности. И все в меру. А где эта мера? Ой, снова эта старушка заскулила, стучит. По-моему, я нашел некий способ ее успокоить – тоже начал в дверь и стены кулаками стучать. Вроде успокоилась

– поняла, что не одна здесь такая. Ничего. Через пару часов медсестра придет, завтрак будет. Хотя бы теплый чай в себя залью. А вообще здесь стало холодно, очень холодно. То ли на улице похолодало, то ли проблема с отоплением. Батарей-то здесь нет – современный воздушный обогрев. Да, что-то не так... А может, и старушке стало холодно и голодно?

Тот же день, утро

Оказывается, я уснул. Проснулся от холода. Уже одиннадцать часов, а медсестры нет. Может, еще празднует.

Вообще-то и правда хорошо, что я пишу. Действительно успокаиваюсь. Хотя писать могу лишь об одном, о моей жизни. Так сказать, продолжение. А это лишь о грустном... Но только не думайте, что все будет так. Финал будет прекрасным! Я в этом уверен. За это борюсь. Этим живу. Об этом молюсь. Однако необходимо соблюдать хронологию. А я описываю середину и конец 1994 года – на носу война. Даже не хочется этот кошмар вспоминать, заново переживать... А более и делать-то нечего.

В общем, жизнь в Ставрополе...

Моя жена привыкла переезжать, научилась снимать квартиры – поближе к школе, главное, к музыкальной. И город очень спокойный, и все вроде бы хорошо, да не совсем. Не очень нас здесь ждут и любят. Впрочем, что посеяли... Однако что ни говори, а жизнь здесь гораздо комфортнее, чем в

Грозном, – просто безопаснее. Но у нас теперь одна проблема – здоровье старшего сына: у него обнаружился гепатит, а еще хуже – психическое расстройство. Врачи посоветовали повезти сына на лечение в Москву. Так я и сделал. А в Москве сказали, что процесс реабилитации и восстановления сына будет долгим и рядом должна быть мать и семья. Тогда я принял решение перевезти всю семью в Москву, чтобы все вместе были.

Москва не Ставрополь, тем более не Грозный. Здесь много полезного, по крайней мере, моя жена очень довольна лечением старшего сына, а еще более – музыкальной школой, рядом с которой и здесь она сняла квартиру, а это дорого, и вообще – Москва город очень дорогой, и я уже машину продал и подыскивал себе работу. Какая работа для нефтяника-бурильщика в Москве? Однако мой профессиональный опыт оказался востребован. Объединение «Сургутнефтегаз» осваивает новое месторождение нефти в далекой Якутии. От Якутии еще четыреста километров на вертолете лететь. Лететь в сторону севера. Жизнь в тайге, в вагончиках, а может, и в палатке. Семью, понятное дело, с собой не возьмешь. И выезжать оттуда в течение полугода нельзя, а по истечении полугода – сорок дней отпуск. И там строгий сухой закон – что многих отпугивает, а меня заставляет ехать в эту глушь лишь зарплата. Я уже написал заявление и собирался лететь, как неожиданно звонок от коллеги из Грозного:

– Твое УБР разваливают, разворовывают.

– А кто там начальник? – поинтересовался я.

– Никого... Никто работать не хочет. Все бегут, боятся. И ты боишься, совсем в тайгу бежишь.

– У вас бардак, беспредел.

– Не у «вас», а у нас. И мы здесь живем... Другой-то Родины нет и не будет. И если даже такие, как ты, у себя дома боятся и за куском хлеба в Сибирь бегут, то что еще говорить, что делать, брат?

Связь резко оборвалась. А я в ту ночь долго заснуть не мог, мучился, а когда все же сон пришел, то такое увидел – словно воочию я в своих горах. Подышал этим воздухом, выпил из родного родника и аж взлетел, полетел над Кавказом, а вид – потрясающий! И утром я задумался. Конечно, в Сибири деньги – ведь мне надо семью содержать не где-нибудь, а в дорогушей Москве, где я живу в долг. Но меня манит домой. Я хочу домой, хотя бы еще раз увидеть свои горы. Жена плакала: ехать ныне в Чечню – большой риск. Слухи оттуда совсем нехорошие, но я иначе уже не мог поступить.

Как тяжело я до Грозного добирался! Республика в блокаде, кругом блокпосты, поток беженцев, а я еду в Чечню. Грозный даже днем почти пустой; везде грязь, нищета, и люди какие-то напуганные, и все говорят о предстоящей войне, даже президент, но он словно бы смакуя, ведь он военный. Я в городе не хотел задерживаться, хотел сразу в горы, однако все не так просто. Мой дом, что я купил на окраине Грозного, разграбили, все, что могли, унесли, даже стекла побили.

Искать грабителей – бесполезно. Ремонтировать я почему-то тоже посчитал бесполезным, тем более что и денег осталось совсем чуть-чуть. А жилье у меня есть – квартира в центре. Но я в ней провел всего ночь, и сразу – в горы.

На всю жизнь я запомнил эти три дня, что я провел в родных горах – как в раю! Я так отдохнул. Стало так спокойно и светло на душе. Я хотел бы там остаться, там жить, вечно жить. Но увы! Жизнь строга. Сына надо лечить в Москве. Семью надо содержать в Москве. И я вынужден ехать в Грозный – там ждет работа, и была бы просто работа, работал бы с удовольствием, иного и не знаю. Да, Грозный конца 1994 года – это что-то неопишное. Уже началась война. Вначале стали воевать чеченцы с чеченцами, а как раз в новогоднюю ночь началась атака российских войск, авиация и тяжелая артиллерия обрушились на Грозный. Не считаю, что это смелость, скорее – дурость, но в эту новогоднюю ночь я тоже был на дежурстве в своем УБР. А наша контора на возвышенности в пригороде Грозного. И я с ужасом и любопытством, но еще со стороны, глядел на этот смертоносный фейерверк. Мне было страшно, не хотел в это верить, не хотел понимать эту войну. За что? Зачем? И главное – что я здесь делаю? Ни зарплаты и ничего здесь нет, а я, как дурак, на посту. И я думал о семье, о детях. Я не знал, что мне делать, как быть. Все время включал рацию – центральный диспетчерский пульт молчал, а потом рация вовсе отключилась, и я понял, что более команд не будет, действовать должен сам.

А раз я командир, то как капитан тонущего корабля должен быть здесь до конца или до иного приказа. Вот такой я был идиот. И не знаю, сколько бы выдержал: вроде на УБР еще было спокойно, и я думал, что здравый смысл возобладает и эта бойня вдруг прекратится. Однако напряжение, наоборот, возрастало, город почти весь горел. И тогда я представил, как за меня переживает семья. Надо было что-то делать, как-то спастись. Но я не знал, что делать, куда бежать. Благо, что у меня была служебная «Нива», на которой я мог бы поехать по любому бездорожью, но как ехать, если всюду стреляют, всюду летают вертолеты и самолеты. Честно – я был очень напуган и очень жалел, что вовремя из этого кошмара не бежал. Мое состояние – будто я заблудился в лесу и не знаю, куда идти, что делать и как быть. Меня окутала беспросветная печаль, наступило гнетущее ощущение вечного одиночества. Это ощущение я испытал в самом детстве, в сиротливом, голодном и холодном детстве в детдоме Казахстана. И тогда меня спас, просто преобразил мою жизнь мой любимый, дорогой и родной дядя Гехо. Теперь его нет, но есть его сын. Он мне как брат... Это было словно озарение, прозрение и спасение. Я отключил все системы на УБР. Все закрыл, запечатал и почему-то написал на входе: «Не входить. Все ушли на фронт! Скоро вернутся».

Я ехал к дому дяди Гехо и поэтому был уверен, что со мной ничего не случится. Хотя вид кругом был ужасающим: на окраине города подбитые танки, БТРы, остовы сожжен-

ных машин и даже трупы. Но я не хотел все это видеть, это осознать; как можно быстрее я хотел доехать. А чем ближе к центру, тем ужаснее – настоящая бойня! Ничего не узнать. Я даже запутался, не узнавая улицы, и тут, совсем рядом, началась такая пальба, загремели чудовищной силы взрывы. Страх... Неконтролируемый страх и паника овладели мною. Я хотел развернуть машину и вместо тормоза нажал на газ – бросило на бордюры, а следом в какую-то яму угодил. Благо, машина была крепкая, да в следующий момент и она не спасла. Из-за поворота, в клубах пыли и гари, как страшное чудовище, рыча, появилась мощная военная техника – и прямо на меня. Просто чудо спасло: вывернул руль и нажал на газ. Жесточайший удар БТРа пришелся в область заднего колеса. Машину швырнуло, и другой стороной – в дерево. От этих ударов меня так встряхнуло, подбросило, и я упал на сиденья, а мимо – рев, гарь и пыль пролетающей техники... И вдруг – тишина. Ужасная тишина, лишь сердце бьется, выскочить хочет. Я как-то уж очень бойко выпрыгнул из машины и через палисадники и высокий забор – в чужой двор, там дверь какого-то сарая настежь открыта – я туда. В полумраке увидел нары, повалился на них и только тогда почувствовал резкую боль в плече, во всем теле, в душе. Было очень тяжело и больно. Хотелось вот тут, в этом чужом, грязном, сыром и холодном сарае крепко заснуть, чтобы казалось, что все это кошмарный сон, а не реальность, и что грохот орудий и авиации – это у соседей по телеку фильм о войне. Однако

это реальность, невыносимая реальность, и меня ждет моя семья, а еще ближе, совсем близко мой брат – сын дяди Гехо. Там спасение. И уже не так быстро, как заскочил, а совсем вяло я выглянул из своего убежища. Видно, что в этом дворе уже давно никто не живет. А вот ворота чуть ли не гвоздями забиты. И я не мог понять, как я этот высокий забор чуть ранее с ходу преодолел. Теперь я это сделал с трудом, и то с помощью всяких приспособлений.

Моя новенькая служебная «Нива» стала такой же, как и окружающий мир, и я даже удивился – как я остался жив? От удара центральная стойка машины на полсалона вошла вглубь – вот отчего болит плечо. А пришелся бы удар чуть выше? Не судьба, значит. Но в тот момент я о смерти не думал, думал лишь о жизни, хотя смерть витала кругом, и ближайшая цель у меня была – дойти до дома, до родного дома дяди Гехо. А вдруг они уехали? Наверняка уехали. И даже будет лучше, если они уже в спокойном месте. Но я должен туда идти – там, как я с самого детства привык, мой родной дом, мое спасение. Не знаю, откуда у меня тогда появились прыть и смелость, может, от первого столкновения с войной или от все нарастающей боли в плече, а может, от представления – а иного и не допускал, – что в старом доме дяди Гехо, как всегда, царит мир, мой мир! Однако до этого оазиса надо дойти, добежать, но я не мог сориентироваться, просто не мог улицы и дома узнать. Вновь, в который раз за последние дни, меня поглотило страшное, невыносимое чувство,

что я заблудился, потерялся; ведь все почти незнакомо, не воспринимается как реальность, и в это в который раз не хочется верить, не можешь понять, как до такого варварства – убивать, бомбить, громить, таранить БТРами! – могут дойти нормальные люди! Это сон, просто кошмарный сон. Поэтому я ничего не узнаю, словно в чужом городе. И вдруг я увидел знакомую с молодости огромную, старинную, еще дореволюционную водопроводную башню – как памятник истории и архитектуры, как неггибаемый символ привокзального района. Тут рядом и двор дяди Гехо. Я ускорил шаг, почти побежал и вдруг прямо перед воротами остановился. Я еще не взялся за ручку ворот, не дернул, но уже понял, ощутил, что это война, кругом война... Неужели сын дяди Гехо, мой как бы брат, точнее, ближе, чем брат, уехал, бежал? Нет, то, что он и его семья от этого кошмара бежали, это очень хорошо, и я рад за них, спокоен. Но почему он меня не предупредил? Хотя я ведь был на работе, и связи нет, а ехать ко мне небезопасно – и все же... Все же я калитку толкнул – заперто. Основательно заперто. Заперто то, что всю жизнь было для меня настезь, родное, близкое, и другого у меня и не было. Я был потрясен, просто обижен, и с этой обидой стал по воротам стучать, даже пару раз ногой пнул. Видимо, я так разошелся, что и канонаду перекричал. Во всяком случае, из соседских ворот пугливо появилась голова старика:

– А, это ты?... Ты-то что тут делаешь?

– А ты? – вопросом на вопрос ответил я.

– Я здесь живу, и бежать некуда.

– А эти где?

– Барахлишко свое они уже давно вывезли, а сами уже пару недель как отчалили.

– Как пару недель? – удивился я.

– А ты не знал?... А где до сих пор был?

– На работе.

– Какая работа в войну!.. А в центр нельзя. Разве не слышишь, что там творится.

– Мне на квартиру надо, документы.

– Какие документы?! Пережди у меня, – и, услышав мой твердый ответ: «Нет, надо идти», – он со словами: «Как знаешь», – скрылся за воротами, больно заскрежетал железный засов, словно он от войны спасет, а я еще стоял, не зная, что делать, как вдруг из-за забора услышал:

– Вот старик Гехо не выехал бы. А сын, – печаль в голосе, – теперь копейку заимел, совсем изменился.

«Да, изменился», – подумал я тоже. А ведь изменился не только сын дяди Гехо, весь мир изменился. Как-то сразу изменился. А я стоял перед закрытыми воротами дяди – вечно родными воротами – и ничего не узнавал, был в шоке, в какой-то прострации. Я ведь вечно жил по тем урокам, что дал мне дядя Гехо, – учись, работай. И я вроде выучился и всю жизнь работал. И даже в войну думал, что надо работать. Ведь я труженик. И если я не буду работать, то кто прокормит семью? А ведь именно моя работа и труд дали возмож-

ность сыну дяди Гехо заняться нефтебизнесом – чего я сделать никак не смог бы. Теперь он очень богат. По крайней мере, вначале я ему нефть давал, а теперь я у него в должниках.

... Впрочем, разве об этом – о деньгах – я тогда думал, стоя у ворот дяди Гехо? Я думал о другом. Почему он, самый близкий мне по жизни человек, вдруг, как началась война, не предупредив меня, уехал. Конечно, он семью спасал. И я, спасая семью, вывез своих. А как бы поступил я, поменяйся мы местами? Не знаю. Зато твердо знаю, что дядя Гехо так бы не поступил и не поступал никогда.

Вот было время! Были люди! Такие были чеченцы: взаимовыручка, сплоченность. А теперь? Теперь во главе всего – деньги. И от денег зависит благополучие твоей семьи. А семья для меня и для всех – главное... Но разве раньше не это было главное? Видимо, нет. Потому что у настоящих чеченцев был девиз: другому можешь помочь, лишь свое оставив... Но это так, к слову. А если к слову, то не в чем мне и тогда, и сейчас винить сына дяди Гехо. Не ради него я на работе сидел. И только он, а не кто-то иной, должен спасти свою семью. А я работал ради зарплаты, ради денег. А были бы они у меня, был бы и я, скорее всего, в Москве с семьей, а не в Грозном. Это я сейчас так мыслю и пишу, а тогда, когда кругом все громыхало, стреляло, убивало, я думал иначе. Я был крайне зол на сына дяди Гехо. Подкаблучник... А по жизни? По жизни маленькая трещина легла в наши отноше-

ния. По крайней мере, я понял, что, может, я и не чужой, но у нас теперь уже далеко не кровное родство... Хотя и между родными братьями всякое бывает. Однако вся эта философия, может быть, уместна сейчас, но в то время было не до этого. Над всем миром господствовало одно: спасайся, кто может! И почему-то мне теперь казалось, что моя квартира – мой дом, моя крепость, что там я буду защищен. Хотя я знал, что это не так и особых ценностей там нет, разве что моя небольшая библиотека, семейные фото и один очень важный для меня документ – моя трудовая книжка. И я только сейчас всерьез об этом задумался. Ведь нас всех вызывали в отдел кадров и отдавали на руки трудовые книжки, которые непременно должны были храниться лишь в отделе кадров. Значит, знали, что война будет? Все знали, и я знал, потому что к этому целенаправленно вели, это кому-то очень нужно было, ведь война – это бизнес, это деньги, это власть и политика. Знали, но не верили.

Об этом и говорить, и писать не хочется... А я тогда очень хотел попасть в свою квартиру, надеясь, что она защитит. Но до нее еще надо было дойти, а это можно было осуществить лишь под покровом ночи. И я стоял перед почти родным домом, но если бы даже ворота были открыты, я бы в тот момент во двор, где жил когда-то дядя Гехо, не зашел. Я вспомнил сарай – он стал как бы своим, и я побрел туда, и почему-то почти не боялся. Видимо, все нарастающая боль в плече, а более в душе – память о дяде Гехо тоже невольно

дала трещину – притупила чувство страха. Уже не хотелось в этом мире жить. Но жить приходится, вернее, выживать, потому что в моем, как казалось, родном сарае очень холодно – зима, и я голоден, я очень устал, но все же в нем безопасно... Но вдруг под сумерки началась такая канонада! Не только ветхий сарай, мое укрытие, зашатался, но даже мои нары как бы задвигались, и тут раздался такой грохот, что с нар меня буквально сдуло, и мне казалось, что земля, как и я, дрожит. А когда я в мольбе приподнял голову, – ужас! – крыша и стены сарая стали почти решето; с улицы свет – словно солнце взошло: из магистральной газовой трубы огненный факел. И я подумал, что раз газ еще подают, то кто-то еще работает, а может, что вероятнее, о газе не думали, бежали. Надо и мне бежать, домой бежать. А почему домой? Какой дом? Ведь квартира в самом центре. И все из центра города уже убежали, а я упрямо туда хочу. Почему? Не знаю. Просто мне казалось, что это мой дом, там я прописан, там я должен и могу быть. И это меня спасет... Вот такой я был всю жизнь. И не то чтобы шел против течения, но шел своим путем, как я считал, правильным, честным и справедливым. А какая справедливость в войну?! И где правильный и честный путь в войну?...

Я в этом кошмаре, в этой крошечной тьме зимней ночи, которая становилась еще темнее после частых небесных озарений от взрывов, пытался до дома и предполагаемого уюта дойти, когда совсем рядом что-то бабахнуло, швырнуло ме-

ня к стене, я стукнулся; надо, как червь, под землю вползти, подумало испуганное тело! И я чуть ли не на четвереньках пополз вдоль какой-то, как мне показалось, очень длинной стены, пока не уперся в ступеньки, и тут же спасительный мрак подъезда, куда я торопливо вполз, поглотил меня.

Наверное, впервые в жизни я ощутил ужас и страх смерти. Мне казалось, что вся эта канонада, весь залп огня направлен лишь на меня, чтобы лишь меня убить, уничтожить. И я уже чувствовал эту боль, эти страдания и конец. Но я хотел жить, очень хотел, как никогда хотел, и как спасение я почему-то искал не свет бытия, что вспыхивал снаружи, а наоборот, мрак, беспросветный мрак, чтобы меня не увидели, не попали в меня. И поэтому, обнаружив после очередного взрыва ступеньки в подвал, я очень осторожно и боязливо, держась замерзшими и дрожащими ладонями за холодную, сырую и явно грязную, запылившуюся стену, медленно тронулся вниз, как в кромешный ад, но и это казалось лучше... И вдруг я услышал снизу человеческие голоса – женские, и среди них старческие крики, стоны, боль. Адская боль войны...

Тот же день, вечер

Я уже немало прожил. Можно сказать, все почти прожил и теперь доживаю. И под конец, словно какой-то великий человек, пытаюсь вести эти мемуары, причем не как некий от-

чет и итог, а как некое открытие – мол, ко мне снизошло прозрение, теперь хочу и вам открыть смысл жизни. Сделать это кратко и внятно пока не получается и, вероятнее всего, не получится, хотя я стараюсь. А по правде – за счет этой писанины я как-то время коротаю (не хочу писать – убиваю), а еще, в этом мой радиодоктор прав, я вроде бы успокаиваюсь. Вот и пишу. А чтобы был хоть какой-то смысл, сообщу то, что знают все, – просто так в жизни ничего не бывает; случайностей не бывает; все имеет свою причинно-следственную связь, и от судьбы не убежишь: жизнь – драма! Вся эта череда слов (хотел сказать, предисловие) к тому, что сегодня, и не как вчера, а еще более жалобно и истошно кричит моя соседка по несчастью, кричит от боли и немощи старушка. Вроде я за ней должен присмотреть, так медсестра приказала. А как? И мне от этого крика и стона очень больно. Больно по многим причинам, потому что этот крик и эта ужасная боль мне очень знакомы. И самое странное и тяжелое то, что эти стоны бабушки совпали с тем моментом моей жизни, который я сейчас хотел описать. Как очень жгучее напоминание, как насилие и издевательство... Впрочем, а что еще ожидать от войны?! Все подробности, переживания и страдания я сейчас описать не могу, да и вряд ли это у меня получится – это невозможно описать, и не хочется об этом вспоминать. Но надо. А для чего и для кого? Не знаю. Но постараюсь весь этот ужас как-то кратко изложить, тем более что крик бабушки из соседней палаты ворошит мою

память, и порою мне даже кажется, что я вновь в том подвале и никогда оттуда не вылезал.

В общем, так и не дошел я до своей квартиры – война швырнула меня в сырой, грязный, холодный подвал многоэтажного дома, где прячутся от бомбежек люди; почти все русские, пожилые, в основном женщины... Все описывать не буду, не могу. Скажу лишь то, что на следующий день (ночь мы как-то пережили) многие куда-то ушли. Понятно, что искали спасения. И это спасение не только от войны, но и от душераздирающего крика... В подвале больная бабушка – у нее рак. Она крупная, словно опухшая, особенно голова, где очаг заболевания. Она нетранспортабельна – не то что ходить, а даже сесть не может. С нею дочь, кстати, врач, где-то моя ровесница, и я ее знаю – в нашей ведомственной поликлинике заведованием работала. Очень симпатичная, добрая и внимательная женщина, Ольга Сергеевна. Я и мужа ее знал – чеченец, тоже нефтяник, у нас работал. От болезни умер. У них один сын, и он здесь – светлый, живой, симпатичный юноша. И мне его больше всех жалко. И я как-то неосторожно выдал:

– Вы-то почему, Ольга Сергеевна, не уехали?

– Куда? – заплакала она. – Тем более с ней, – она глянула на старушку-мать.

А я с еще одним дурацким вопросом:

– А ей помочь... вы ведь врач.

– Как?! Никто не поможет. Лишь лекарства, наркотиче-

ские лекарства. А их нет...

Она не плачет, не ноет, как-то строго держится... Позже, по жизни, когда мне становилось почти так же невыносимо больно от ударов судьбы, я почему-то всегда вспоминал эту Ольгу Сергеевну и ее слова:

– Диагноз плохой, зато известен. Все пройдет, как любая жизнь... Но как мне сына сберечь, как спасти? Ведь Ваша⁴ хотел его забрать, просил, а я – дура!.. Но кто такое представить мог.

Да, такое представить невозможно. А пережить? Она пыталась. Очень пыталась. В этом вонючем, холодном подвале она постоянно сидела возле матери, а та непрестанно страдает от боли:

– Доченька, Оленька, помоги, помоги.

– Мама, мамочка, потерпи... Сейчас полегчает, все пройдет, – она гладит ее голову, целует.

Видимо, боли у старушки усиливаются, и она начинает стонать, кричать. И я представляю, как ей, точнее им обоим, тяжело, если и мне это было слушать и видеть невыносимо. И, наверное, поэтому из этого подвала, даже не боясь артобстрела, многие куда-то ушли, и я хотел уйти, но тут в очередной раз, пока Ольга Сергеевна как-то успокаивала мать, исчез ее сын.

– Руслан! Руслан! – бросилась она к выходу.

А юноша – непоседа, неугомонный, своенравный, и да-

⁴ Ваша (чеченск.) – дословно брат; уважительно к старшему.

же непонятно, как он умудряется так незаметно из подвала улизнуть, ведь его бедная мать постоянно одним глазом в сторону своей матери смотрит, а другим пытается за сыном уследить – бесполезно. Руслан регулярно исчезает, и тогда можно представить, что творится с Ольгой Сергеевной. Однако без этих вылазок Руслана нам было бы тяжело. Он как-то проникал в покинутые квартиры, в том числе и в свою, и приносил нам еду: муку, крупу, соль и сахар, консервы и даже один раз какой-то коньяк, а зачастую и дрова. Он также умудрялся узнавать новости – они были сплошь ужасные и лишь усугублялись новыми подробностями. А убегал он из подвала в надежде найти лекарства для бабушки, и кое-какие даже приносил, но Ольга Сергеевна его всегда ругала, умоляла:

– Руслан, прошу тебя, не покидай меня, мне страшно. Я боюсь за тебя.

– Не волнуйся, мама, – он по-сыновьи ласково и бережно обнимал ее. – Не волнуйся, ты ведь сама говорила, что все пройдет, жизнь пройдет...

– Замолчи! – вскипала Ольга Сергеевна, и даже в полумраке этого подвала было видно, как горели от безысходности ее усталые, измученные глаза, так же ощущались ее боль и страдание.

– Не волнуйся, мама, – успокаивал ее сын, но вновь исчезал, и я благодаря этому получил на вторую ночь одеяло, матрац и подушку. По безмолвной реакции Ольги Сергеев-

ны я понял, что все это из их квартиры. А я поблагодарил юношу и хотел заснуть – страшно устал, но не мог – боль в плече, как игла, как воспаленный нерв, терзала меня, и я, наверное, не будь рядом людей, закричал бы от боли, как эта больная старушка; с трудом челюсти сжимал. И тут, как бы впервые увидев меня, ко мне подошла Ольга Сергеевна.

– У вас что-то болит? – она склонилась надо мной. – Плечо? А ну, оголите руку.

От прикосновения ее холодных пальцев мне стало еще больней, а она, как доктор, не церемонилась:

– Перелома нет. Просто ушиб. Вывих... Положите руку на мое плечо.

Я больную руку уже и поднять не мог, она помогла, и все давит и давит на больное место – прямо в нерв, и вдруг как дернула!.. Я от адской боли закричал, даже на корточки сел, слезы еле сдержал, а она похлопала по больному плечу:

– Теперь полежите, поспите, боль пройдет, все пройдет.

И действительно, боль потихоньку стала утихать, я повалился на матрац и отключился.

Не могу понять, сколько я спал, но спал тяжело. Порою от недалеких взрывов пробуждался, но я хотел спать, я не хотел вставать, не хотел воспринимать реальность войны, этот холод подвала, а стоны старушки я пытался не слышать, как вдруг от дикого вопля Ольги Сергеевны я вскочил.

– Руслан! Руслан! – ее крик уже слышался издалека.

Она явно уже выбралась из подвала и даже из подъезда,

потому что ее уже еле слышно. Я бросился за ней и на ходу услышал: «Руслана снайпер...».

На улице ночь, гнетущая тишина, крупными хлопьями валит густой, пушистый снег. Я ее сразу увидел. Совсем рядом; она почему-то прилипла к стене, дрожит, плачет. А рядом с ней валяется человек. Его уже запорошило снежком, а вот кровь на земле, видать, еще теплая, большой лужей темнеет. Я бросился к нему – может, можно помочь? Он лежал ничком, какой-то странно большой, крепкий. Я перевернул его, это точно не Руслан – черная борода.

– Ему можно помочь? – я думал, что Ольга Сергеевна, как доктор, всесильна, а она в ответ:

– Руслан, где мой Руслан! Руслан! – закричала она. Я понял, что спасать надо ее. Насильно толкая, буквально потащил ее в подъезд, и тут – «так-так», совсем рядом два попадания, так, что штукатурка в глаза. Из-за темноты и густого снега нас вряд ли видно – снайпер стреляет на звук (нас тоже в армии учили стрелять на звук. Но это так, к слову...). Мне стало страшно, очень страшно: соприкоснулся со смертью, чуть мишенью не стал... Позже я не раз вспоминал этот эпизод и думал – не повезло, не попали. А сколько еще таких эпизодов в моей жизни было – ведь как-никак пережил в Чечне две войны, вроде и с потерями, но выжил. А вот самое тяжелое случилось тогда, когда, казалось бы, войны закончились и наступил мир.

Оказывается, вся жизнь борьба – вся жизнь война. Или

это только у нас, в Чечне? Но об этом писать не хочется. Хотя, может быть, и до этого дойду. В смысле – напишу.

А парадоксальный смысл в том, что все пройдет.

3 января, утро

Сегодня в нашей больнице (по мне, это лучше назвать – якобы лечебное коммерческое учреждение) – большое оживление. Даже какой-то переполох. С утра медсестра меня разбудила – завтрак. Вообще-то приятно свеженькое в мой изголодавшийся живот загнать. Даже катетер, словно получил смазку, хорошо заработал, то есть лучше свежую пищу пропустил. Из-за сытости мое настроение значительно улучшилось. И самочувствие вроде нормальное. Поэтому я особо не обратил внимания на то, как меня какой-то новый доктор по телефону ругал. Оказывается, да я это и знал, нельзя мне делать физические нагрузки, а я ими занимался. Камеры все зафиксировали, в американском центре подняли панику. А я думал, раз Новый год и никого в учреждении нет, то и камеры не работают, – расслабился. Ан нет, все под пристальным надзором. И что так американцы пекутся о моем здоровье? Конечно же, это большие деньги, за океаном репутацию свою берегут, за клиентов-пациентов борются. И все это до такой степени, что вдруг из Америки мой радиодоктор позвонил: тоже беспокоится, волнуется, говорит, мол, из-за меня весь его отпуск пропал.

– Да и вообще, как вы выглядите?! Что у вас за вид!

Действительно, что за вид! А в чем я виноват? Эта их бу-
мажная одежда вся износилась, и я весь в лохмотьях, как Ро-
бинзон Крузо на необитаемом острове. И меня, оборвыша,
даже в Америке видят. Что за жизнь?!

Я раньше думал – да так оно и есть, – что все, всегда и
езде видит один Бог. Его надо любить, уважать, ценить, бо-
яться. А теперь кругом камеры, и я почти подневольный в
этой их палате-камере, в их лохмотьях-промокашках; за это
деньги заплатил, а они меня еще ругают, пристыдить хотят...
Как я ненавижу эти камеры! За всем миром следят. А поче-
му? Чтобы все и всё было под их контролем. Так легче ми-
ром управлять... А я хочу свободы, хочу, чтобы за мной ни-
кто не следил и я лишь Бога боялся.

Но сегодня – это утопия, и я даже деньги заплатил, дабы
так, хотя бы так, под вечным контролем, да жить. Конечно,
где-то спасает и участь раба, но я тешу себя лишь одной мыс-
лью, что у себя в горах я свободен. Хотя... хотя это тоже уже
не так. И я не убежден, а не стоят ли и там камеры. Может,
еще и не стоят, да со спутников все видно. И свои лакеи-при-
служники есть, от которых и там уже житья нет. Они нена-
сытны в потреблении, весь мир под контролем – универса-
лизация, глобализация, либерализм и свобода личности. На
самом деле все под камерами, всех под шаблоны и в футля-
ры загнать хотят.

... Я чувствовал, что вот-вот сорвусь, ощущал, как изнут-

ри все вскипает так, что хочется с груди спасательный катетер сорвать, в эту камеру бросить. Я бы так и сделал, да тут живительный звонок – дочь звонит, ее хрустальный, родной, как мой родничок, голосок меня несколько успокоил, и я, чтобы ее утешить, пытаюсь хорошо в ответ мычать. Вообще-то какое удивительное изобретение – мобильный телефон. Что бы я без него делал? Моя дочь за тысячу километров, а я ее спокойно слышу и даже мог бы увидеть, но я этой техникой не владею. А это все, в свою очередь, тоже благодаря той же технике и технологии, глобализации и универсализации мира. Что делать? Надо идти в ногу со временем, как-то приспосабливаться и, главное, искать и строить мир в самом себе, жить в гармонии с самим собой, зная, что все пройдет. Для меня все скоро, очень скоро пройдет. Я порою чувствую смерть, чувствую, что она совсем рядом. Этому меня две войны научили. Оказывается, у смерти есть свой запах, своя аура и стихия, которые начинают господствовать, дозвлеть, сжимать в тисках неизбежного, тайного, страшного и неведомого. Вот тут ни камеры, ни технологии, ни деньги не спасут и не спасают, лишь могут эту агонию чуточку отвести, муку жизни с известным концом продлить... И как последний звонок, я вострепнулся – медсестра звонит:

– Вам надо переодеться. Сейчас откроется ваша дверь. В смотровой комнате на стуле одежда. Свои лохмотья киньте в контейнер: в углу стоит.

Как в иной мир, я пошел в смотровой кабинет. За стеклом

медсестра, и мне ее почему-то не стыдно. Мой вид в любом случае уже давно не мужской, и эта новая одежда как саван. Но я спокойно переоделся, машинально посмотрел в зеркало – вроде тот же вид, еще живой, и тут меня осенило: смерть рядом – была и есть; я поднял трубку внутреннего аппарата. То же самое сделала медсестра. Я говорить не могу, замычал, как-то стал жестикулировать, а она меня поняла:

– Да, старушка умерла... Никто за ней так и не приехал, в морг увезли.

... Я тут же вспомнил, даже представил войну. Наш подвал. Сразу сообщу, что Руслан объявился. Объявился на следующую ночь. А что было до этого, целые сутки! Я просто сам еле пережил все страдания несчастной Ольги Сергеевны. За один этот день она лет на десять постарела, но еще держалась, крепилась, все возле матери тайком смахивала слезы. А едва больная бабушка после очередного приступа как-то утихала, Ольга Сергеевна бежала к выходу и кричала:

– Руслан! Руслан, где ты?

Не знаю, то ли снайпер ушел, то ли уснул или жалел ее и меня, но никто не стрелял в этот день. А я в который раз затаскивал Ольгу Сергеевну в подвал. И так почти весь световой день, а ночью вдруг Руслан появился в подвале – грязный, усталый, в порванной куртке.

– Руслан, сыночек, – бросилась к нему Ольга Сергеевна, а потом стала неумело бить, ругать. А у него такая нежность и любовь к матери, он с такой теплотой и лаской ее обнял, что

она как-то неожиданно сникла, задрожала и так жалостливо, тоскливо и с надрывом заплакала, что весь мир, как этот во-нючий, мерзкий подвал, превратился в необратимую и кошмарную безысходность. Я более не мог здесь находиться, я задыхался и ощущал, что меня здесь заживо погребают... Я это почти физически чувствовал. И тут меня осенило – буд-то это мой последний долг на этой земле! – я должен похоронить или хотя бы что-то сделать, чтобы предать земле труп молодого человека во дворе. Была ночь. Было холодно, очень холодно, и леденящий, даже со свистом, ветерок. И мне казалось, что из каждого разбитого окна в меня целятся снайперы с приборами ночного видения. И не то чтобы я не боялся, очень боялся. Но я уже не мог быть в подвале: ужасные стоны старушки, изможденный вид Ольги Сергеевны и этот неугомонный непоседа-юноша – как они меня угнетали!..

А легко ли похоронить человека? Но надо. Кто-то должен, но, кроме меня, никого нет. А я даже дотронуться до него боюсь. И просто стоять над ним боюсь, вот-вот и меня могут тут же уложить. Это война! Уже потом, особенно во вторую войну, я к этому делу почти привык. А тогда, в январе 1995-го, как я боялся притронуться к мертвому телу. А тут иной страх – кто-то идет... Руслан!

– Ты опять? – с нескрываемой дрожью лишь это смог я прошептать.

– Мама вырубилась, устала, – он гораздо спокойнее меня, но тоже говорит тихо. – Это наш сосед, такой парень...

– Надо похоронить, – я попытался набраться спокойствия, хотя, признаюсь, состояние мое было ужасным. – Руслан, – попросил я, – прошу тебя, иди к матери, она проснется...

– Нет. Она пока спит. А я должен, это наш сосед. И вам помогу.

Действительно, я бы без него не справился. Руслан знал свой двор. Мы погибшего куда-то в закуток оттащили. А Руслан еще и лопату нашел. И только начали копать, как истощенный крик:

– Руслан! Руслан! Сынок!

– Ради Бога, пойдти к матери, – взмолился я, а когда остался один, мне стало совсем страшно, и такая адская, тягостная тишина – ни одного выстрела, ни единого взрыва, лишь моя лопата на всю округу о мерзлую щебенку звенит, и такое чувство, что сам себе могилу рою... В первый раз могилу рою. Война!

Торопился ли я? Очень. Но что мог сделать – сделал, и даже какой-то религиозный обряд свершил (позже я все это основательно, почти как мулла, освоил – надо было). А тогда я от спешки и страха даже вспотел, и одна была мысль, раз такая тишина, в городе никого нет, надо бежать, хоть куда бежать, лишь бы не в этот подвал. А с другой стороны, как я могу бросить их? Ведь я прекрасно понимаю положение Ольги Сергеевны.

... Конечно, это сейчас так спокойно и вроде бы здорово рассуждаю. А там, в то время было не до здравомыслия. Ко-

гда все и вся сошли с ума, убивают друг друга, не зная, за что, – это тяжело воспринимать, анализировать, тяжело даже просто жить. Это экстремальная ситуация, на грани жизни и смерти, и здесь каждый хочет просто выжить, и если о ком-то думать, то только о своих самых близких, о своей семье. И чтобы как-то образно понять, что такое война, я хочу привести небольшой, но, как мне сейчас кажется, показательный пример.

... Как-то во время войны меня послали в командировку в Краснодарский край. Скажу честно, и это вам подтвердят все: когда шла война, стоило лишь на два шага выехать в любую сторону из Чечни, и тебе казалось, что ты попал в рай, до того все чисто, тихо, приятно, и нет блокпостов и военной техники. Ведь в Чечне, даже в горах, в то время чувствовалась атмосфера вражды, напряженности, смерти, и всюду было небезопасно. Я быстренько решил дела и позвонил своему товарищу Максиму. Максим лет на пять моложе меня. Познакомились мы в институте, учились в одном вузе (он был очник) и работали в одном объединении, пока он не поступил в аспирантуру в Москве, а там женился на кубаночке и с нею уехал. Теперь он работал в местной нефтегазовой государственной компании – работа хорошая, денег прилично и свободного времени много, и он почему-то пристрастился к экстремальному виду спорта: летает на дельтаплане. И меня хотел научить, но я летать на дельтапланах просто боялся, хотя он уверял, что это очень легко, приятно и почти

безопасно. Но я рисковать не посмел, ведь и так каждый день и час в Чечне – это риск. А за волшебным спокойным полетом Максима наблюдал с таким восторгом и, не скрою, с некой завистью. Его красно-белый легкий дельтаплан, словно грациозный, большой орел, вольно парил над ущельем, горами и улетал далеко-далеко, становился как яркая, недосягаемая, все удаляющаяся точка, будто несбывшаяся моя мечта, которая теперь за далеким перевалом. Я этого уже не видел и не мог видеть, да, видимо, я сглазил – оказывается, как потом рассказывал Максим, за перевалом в другом ущелье господствовал иной, резкий и встречный ветер, отчего полет стал сложным, и Максим очень неудачно приземлился, задел деревья, поломал дельтаплан, но сам остался цел и невредим, был очень доволен, отнюдь не унывал, а наоборот, в восторге от случившегося. Как он все это описывал! Какие эмоции, чувства, как он, выражаясь его языком, выпустил весь адреналин. Я думал, что после этого ЧП Максим уgomонится. А он тут же с радостью сообщает: «Завтра мы с тобой прыгаем с вертолета на парашюте в Черное море».

– Это полная безопасность. Ведь на нас будут спасательные жилеты, не дадут утонуть.

Я категорически отказался, а он за свое:

– Хоть посмотри, а там примешь решение.

Одному оставаться тоже неловко, и я пошел к вертолету. И если бы кто знал, какой я испытывал страх даже от шума двигателя, не говоря уже от самого вида вертолета. Ведь им

не объяснишь, а они и не поймут, что в Чечне это летающая смерть и что не раз при виде и шуме вертолетов мы выпрыгиваем из машин и бросаемся к обочине – ничком и в грязь, и в снег, и в пыль. Но я пересилил себя и полетел, а когда на значительной высоте раскрыли борт и я увидел безбрежное море – такой страх овеял меня, что я обеими руками ухватился за все, за что было можно, чтобы не снесло. А Максим и его товарищи с улыбками, с удовольствием бросились за борт. Вечером в лесу, у костра, где шашлык и спиртное, они, смакуя, рассказывали о прекрасных минутах полета. А когда совсем стемнело, костер угас и пыл поумерился, Максим отвел меня в сторону и печально сказал:

– В Грозном вроде теперь спокойно. Повези меня туда, ведь я даже на могилке матери не был.

Мать Максима умерла перед самой войной. Ситуация в Грозном тогда была очень сложной, опасной. Максим, скажем так, по разным причинам приехать ну никак не смог. Мы его мать похоронили всем коллективом, как положено. И вот теперь, зная, что в Грозном вроде бы восстановилась федеральная власть, Максим решил посетить могилу матери.

Всю дорогу до Чечни я пытался объяснить Максиму ситуацию, но разве такое объяснишь, такое только самому пережить надо. На въезде – устрашающе-военизированный блокпост; огромная очередь, которую какие-то блатные за определенную мзду объезжают. А это – середина лета, жара, пекет. Почти два часа выстояли. Я знаю, что таких, как я, то

есть местных, они быстро вычисляют, отношение к нам плевое и цель одна – вымогательство. Ради этого все будут сверять, проверять, а дашь на лапу – хоть бомбу провози...

Помню, как-то ночью по работе я попал на этот КПП, уже все стражи порядка, как говорится, подшофе, и наш краткий диалог таков:

– Командир, уже ночь, мы на службе, федеральной службе – «Роснефть», нельзя ли побыстрее.

– Быстро только кошки умеют, а еще кролики... А у нас проезд сто рублей, ночью – двести.

– До Грозного двенадцать блокпостов – зарплаты не хватит.

– А ты думаешь, мы здесь просто так стоим – сто тысяч за этот пост выложили. Как ныне говорится, тендер выиграла.

– Так вы эти сто тысяч за пару дней собираете.

– Но-но-но! Я смотрю, ты больно болтливый и грамотный.

Не помню, как тогда закончился наш диалог, просто в это время, под покровом ночи, со стороны Чечни подъехала большая колонна нефтевозов. Стало не до меня...

А теперь была совсем иная ситуация – я волновался за Максима, ведь федералы не любят тех, кто сюда со стороны приезжает, не хотят, чтобы кто-то видел, как они наводят «конституционный порядок».

Вот и Максима на первом же блокпосту повели с вещами на проверку куда-то внутрь. Минут двадцать прошло, а его не выпускают. Я заволновался. И хорошо, что здесь за деньги

все можно, поэтому я в то же помещение попал: Максим стоит, как провинившийся ученик, в углу, весь в поту. А как на их жаргоне говорится, к нему много предьяв – зачем едет, к кому едет, для чего столько денег – может, везет боевикам? А фотоаппарат такой дорогой и хороший, а еще коньяк... Мое неожиданное появление федералов смутило, точнее взбесило, да я давно изучил нрав подобных защитников отечества – бросил на стол стодолларовую купюру и говорю:

– За упокой души его матери чайку выпьете. Он на могилу матери едет. Здесь родился, вырос, работал.

– Фотоаппарат нельзя, – выдал один из военных.

– И коньяк тоже нельзя, сухой закон – шариат, – подсказал второй.

– И коньяк за его мать выпьете, – отложил я бутылку. – А фотоаппарат не его, а мой. Я случайно в его сумку положил.

Вот так или примерно так, выдержав более десятка блокпостов, мы добрались до Грозного. Уже наступила ночь. Квартира моя полностью сгорела, и мы остановились в маленьком разбитом домике, что я купил до войны. Несмотря на ночь, в доме жарко, а Максим все окна закрыл, не скрывает, что очень боится, бледный – он увидел нынешний Грозный, эти руины и бандитские порядки. А тут с наступлением темноты, как обычно, всюду стали стрелять, взрывать, бомбить. Мы-то, местные, к этому как-то привыкли, хотя сердце от каждого взрыва екает, сжимается. А Максиму очень тяжело, и он уже который раз повторяет:

– Лучше бы ты фотоаппарат отдал, чем коньяк. Выпил бы, заснул, забылся бы... Какой ужас, какой кошмар! Как ты тут живешь? Зачем? В любую минуту кокнуть могут... Света нет, воды нет. Это ужас!.. А к нам не ворвутся?

И так до утра не спали. Рано утром Максим попросил отвезти его на кладбище, а там на входе небольшая табличка: «Заминировано».

– Туда нельзя, не пойду, – прошептал он.

– Да это так, для виду, чтобы кладбище не испоганили.

– Не пойду. Предупреждают ведь. Зачем рисковать?

Я его долго уговаривал, а потом не выдержал:

– Чего ты боишься? А с горы прыгать, а с вертолета – разве не риск? А мать – святое. Пошли. Иди за мной через пять метров, след в след.

Кладбище щедро бурьяном заросло. Не то что человеческих, даже собачьих троп нет, да и собак в городе не осталось. С трудом могилку нашли. А фотографировать, чтобы кому-то показать, – нечего, жалкое зрелище, действительно заброшенная могила. А Максим на колени упал, очень долго плакал, гладил маленький, заросший холмик... У него еще кое-какие запланированные дела были в Грозном, но сразу после кладбища он попросил:

– Отвези отсюда, побыстрее... Прошу тебя. И вот деньги, – он достал целую пачку, – отдавай, не скупись, только вывези побыстрее.

– Успокойся и деньги спрячь, – засмеялся я, – мы к этому

уже привыкли. Ничего не случится. Все будет нормально.

Действительно, нам на обратном пути очень повезло – ни огромных очередей, ни особого досмотра. Лишь на границе, на самом выезде из Чечни, как из особой чрезвычайно-санитарной зоны, огромная очередь. Однако я – нахально повел машину по встречке, как это делают лишь те, у кого какие-то ксивы в кармане, и когда уперся в пост, я даже не вышел, лишь в открытое окно протянул крупную купюру:

– Командир, здоров! Все нормально? Это шеф из Москвы. В аэропорт опаздываем.

– Проезжай, проезжай, самолет ждать не будет... Привет Москве, – он махнул рукой Максиму.

Я проводил Максима до Минвод, и уже из отходящего поезда он крикнул:

– Там жить нельзя. Не живи там...

После этого я Максима долго не видел, все не доводилось, лишь изредка позванивал, он все время к себе приглашал, и вот пару лет спустя я вновь приехал к нему в гости. Максима не узнать – постарел, очень пополнел, о полетах даже не вспоминает, а его жена говорит:

– После той поездки в Грозный совсем изменился, тихим домоседом стал – хорошо. А то я так боялась его этих трюков.

А Максим смеется:

– Больше рисковать жизнью не могу. Боюсь. До того та поездка страхом овевяла, что я понял цену жизни, спокой-

но кайфовать хочу... Как ты там выдерживаешь? Жить надо только там, где тебе спокойно и комфортно.

– А где твой дельтаплан? – почему-то спросил я.

– На чердаке... Иногда во сне летаю. Тогда вытаскиваю, и, может, полетел бы, вроде и хочу, но куда теперь с таким весом... В общем, хочу, но боюсь. Боюсь рисковать ради пустой, праздной блажи. Что-то после той поездки во мне надломилось. В Чечне весь жизненный запас адреналина израсходовался. Как ты там только живешь? Это ведь ужас, издевательство, какой-то эксперимент над людьми. В общем, у вас не жизнь – и добра вам ждать неоткуда!

Где-то, то есть во многом, он был прав, но я там жил, а добра – точно не дождался.

... И почему я вспомнил Максима? Ах, да. Как пример. А ведь друг советовал, но я не послушал. Впрочем, от судьбы все равно не уйдешь и не убежишь. Судьба! Что она еще мне готовит? Точнее, к чему я теперь готовлюсь? К мести! Я отомщу!

Аминь!

4 января, ночь

Зачем я вспомнил Максима? Растормошил память, вспомнил так называемую цель моей нынешней жизни, и аж вскипело все внутри. Кажется, я физически чувствовал, как кровь стала горячей, как она накалила все тело, кожу и кости.

И я это ощущал – жар действительно был, я даже почувствовал холод от катетера – инородного тела, и это слегка до поры до времени сдерживало меня! Но жар моих мыслей, чувств, эмоций и злобы был настолько силен, что прохлада инородного тела не спасла – видимо, точнее так оно и есть, просто я не хочу в этом признаваться, у меня начинался приступ моей звериной ярости, я хотел стрелять, всех убивать, я хотел отомстить... Если честно, я всего и не помню. Зато мой радиодоктор вновь позвонил аж из Америки и вкратце все рассказал, а я по ушибам да вскользь, как сквозь какой-то еле запомнившийся, но все же пережитый и оставивший след не только в сознании, но и на теле сон, кое-что восстановил. Опишу вкратце: я, как ребенок, стал вновь играть в войнушку, стал «стрелять» и залез на высокий подоконник, чтобы «стрелять» тех, кого мог увидеть на улице, настоящих людей, и вдруг мне это расхотелось, я бросил «оружие», раздвинул во всю ширь руки, словно лечу, и вправду полетел. Хорошо, что на кровать, которая чуть в сторонке стояла. Это мне, видимо, так понравилось, что я совершил еще один полет, но очень неудачно – стукнулся головой о металлическую спинку кровати и вырубился. Ну а пришел в себя от звонков внутреннего телефона – медсестра меня материт, а я не пойму, в чем дело, башка гудит, весь в синяках и ссадинах, словно избили, и даже катетер как-то глубже просел, вокруг него тоже боль. Однако вся эта телесная и физическая боль – ерунда, я к ней давно привык, а вот мой дух – хочется так сказать –

просто воспарил. Я хочу летать! Я бы сейчас с удовольствием полетел на дельтаплане или прыгнул бы с парашютом... а может, и без него, лишь бы хоть на мгновение почувствовать счастье и простор свободного полета. Только во всем этом есть два условия – первое, летать хочу только над родными горами, хоть и знаю, что упаду в ущелье, да все свое, родное. А второе... второе сложнее, и должно произойти до первого... но я это исполню – отомщу.

... Даже от написания этого слова мне становится плохо, словно крылья, на которых я мечтал воспарить, обрубил. И, может быть, был бы вновь кризис, но у меня теперь есть некий противовес моему нынешнему существованию или смыслу моей оставшейся жизни – полететь! Взлететь над родными горами! Почувствовать и знать, что ты был, есть и навсегда останешься свободным, свободным на своей родине, в своих горах! Но это далеко, и пока я взаперти, то есть лучше сказать, на лечении. А у меня ныне, это и медперсонал подтвердил, есть противоядие от стресса, есть уникальное успокоительное – я должен, могу и хочу писать. Да дело в том, что у меня бумаги чистой нет, вот так исписался, настоящий графоман – и теперь использую форзацы здешних книг и более-менее чистые страницы. Но и это не беда – беда в ручках, писать нечем. Из последней пишущей ручки во время приступа я выдумал пистолет-автомат, а когда вместо мести и войны в моем сознании стал господствовать мир, гармония свободы полета, я просто взял и поломал последнее

«оружие» – ручку. В общем, делать нечего, и писанина спасает, придает некий смысл моему нынешнему существованию, и поэтому я послал сообщение медсестре – «Пришлите с ужином бумагу и ручки». Она мне тут же перезвонила и так послала: оказывается, из-за меня у клиники теперь масса бед, даже на Новый год по-человечески никто отдохнуть не смог. Наверное, доля истины в этом есть, и я после приступа, несмотря на некую душевную легкость, все-таки ощущаю обычные посткризисные угрызения совести, словно я что-то ужасное натворил, вроде убил кого-то. В такие минуты, да что там минуты, в последнее время, годы – у меня лишь одно спасение, одна ниточка, что держит на плаву мою больную Вселенную, – моя дочь. Она постоянно звонит, она в курсе всех моих дел, а радиодоктор и медсестра все ей докладывают. Вот какое несчастье от этой модернизации, глобализации, универсализации всего и всех. А в то же время как ныне без них жить, и я как бы в оправдание, теперь я перед дочкой оправдываюсь – так порою складывается жизнь, – пишу ей: «Нет бумаги и ручки. Пишу – мне легче, забываюсь». Не знаю, что моя доченька сказала, зато знаю, что она сделала – хорошо заплатила, ибо не на следующий день, а через пару часов после ужина ко мне звонок, и медсестра подсказывает, чтобы я простынею как-то перекрыл сектор обзора камеры видеонаблюдения. Вот так я получил целую пачку отличной бумаги – 500 страниц – и 20 ручек.

Вот буду писать! А будет ли кто читать? Неважно. Сам

процесс, – будто заново переживаю свою жизнь, – увлек. А может, начать по-иному, как я хочу или хотел написать, и при этом – выдумывать? Нет. Как было, как есть. Ни о чем не жалею... Но по порядку. Тогда надо вернуться в подвал, а это лучше с новой строки, а еще лучше – главы.

Та же ночь

Война! Подвал! Мог ли подвал нас спасти? Мог, если бы эта война не так долго длилась. А она длилась. И я сейчас понимаю, что кому-то, кто был очень далеко и высоко, эта война, затяжная, кровавая война, была нужна. Ну а мы в подвале думали, гадали, мечтали, что вот-вот все закончится и, как в великих советских картинах про Отечественную войну, придут потомки тех доблестных советских воинов, освободят город от бандитов, заиграет на улице музыка, и нас, в первую очередь нашу очень больную бабушку на скорой помощи увезут, спасут. Однако это не происходило, и уже ощущалось, что не произойдет, а ситуация, наоборот, становилась все хуже и хуже. Я стал грязным, очень грязным, от копоты и руки, и лицо черные... Я уже сам ощущаю свой несносный запах. Вонь шла еще и от испражнений больной бабушки, и здесь справиться с этим было невозможно, и привыкнуть – невозможно. Ничего нет, воды нет. Кое-как помогал нам обильно выпавший снег, но его приносить тоже небезопасно, а если среди ночи одну-две вылазки сделаешь,

то наутро не знаешь, что принес: снег или сажу. И в подвале так холодно, что этот снег почти не тает. А нам уже и огонь развести нечем. И готовить на огне уже нечего. И ситуация такая голодная, что даже крысы, которые с нами нашу жалкую пищу оспаривали, теперь куда-то исчезли... даже они убежали. И более того, в первые же дни в этих условиях я завшивел, все чесалось, а теперь и вши, и клопы исчезли – то ли наелись, то ли есть более нечего – похудел, то ли и они вслед за крысами из безжизненных руин, от этого терзающего душу крика бабушки, от голода, холода и войны сбежали. Бежать и спастись надо было и нам, и все мы это прекрасно понимали, потому что к нам в подвал уже заходили такие же, как мы, из соседних домов и рассказывали ужасные вещи, да и Руслан нам эту же информацию не раз приносил: федералы зачищают город от боевиков и особо не мучаются и не рискуют – шуруют в подвал гранаты и направляют огнеметы. Выйти из подвала – не меньший риск, если не больший, ты беззащитен, когда вокруг все стреляет, все громыхает, все рушится, но это шанс. И я уже понимаю, и все понимают, что движение – это жизнь! Однако Ольга Сергеевна привязана к матери, и она, я понял, не уйдет, мать не бросит... Тогда я этого не знал, позже узнал, когда был в гостях у того же Максима.

К слову о Максиме. У него был друг-сосед, тоже экстремал, только альпинист, и не простой, а покоривший даже Эверест и еще несколько восьмитысячников на земле. И этот

альпинист рассказывал, что у восходителей на самые высокие вершины мира строгое правило взаимовыручки и взаимоподдержки. Однако это правило действует и применяется только до высоты 8 тысяч метров, а выше 8 тысяч, где ветер вечно свистит и мороз за 50°, а главное, кислорода для жизни и мозга не хватает – значит, жизнь человека на грани, если случись экстремальная ситуация, то вряд ли кто-либо сможет другого спасти – нет сил, нет возможности, притупляются разум и воля. В такой ситуации альпинисты даже самых близких людей бросают на склонах, ибо иначе и самого спасателя ожидает смерть. И это не понять на земле, а на высоте 8 тысяч метров, где никто и ничто не живет и не сможет жить, законы иные – только сам на себя можешь надеяться и сам себя ты должен спасать. Может, и не такая, но почти такая ситуация сложилась и у нас в подвале. И мне кажется, что лучше бы я оказался в экстремальной ситуации на пике земли, чем под землей. По крайней мере, в горы ходят по своей доброй воле, для самоутверждения и честолюбия. А мы в подвале из-за злой силы, и здесь тоже никто уже выжить не может, даже крысы и блохи бежали, исчезли. И я знаю, что если сейчас не убегу, то здесь навсегда останусь. Как погибшие альпинисты навечно замурованы в леднике, так и я навечно буду замурован под железобетоном.

Я мог тихо и незаметно, как это частенько делал Руслан, уйти – в отличие от него, тут моей матери нет, и я мог сюда не вернуться, попытаться спастись. Но что-то меня держало.

Я знал, что, конечно, я не спаситель, но все равно мужчина, опытный человек, и в такой ситуации мой уход – страшный удар для тех, кто уйти просто не может, и Ольга Сергеевна не бросит мать, не уйдет, она (как на вершине Эвереста, так и в подвале) знает, что участь ее матери уже решена и надо спасать сына, но как? Как бросить мать? Другие, знаю, бросали. Она не бросит. Она от безысходности уже изнемогла, обессилена и обескровлена. Болезненные крики и стоны ее матери невыносимы. И, наверное, от этого Руслан все чаще и чаще из подвала убегал. И Ольга Сергеевна каждый раз плачет, но бежать за ним сил у нее уже нет. А Руслан совсем одичал, взгляд его изменился, и вот как-то он вдруг принес автомат.

– Брось! Выкинь его! Откуда взял? Убери! – закричала Ольга Сергеевна, хотела выхватить у него оружие, а он не дал.

– Помогите, заберите, – обратилась с мольбой она ко мне. На это у меня еще силы были, но что меня удивило, а может, показалось, да автомат был горячий, словно только что из него стреляли, и он порохом и смертью вонял, так что и в руках держать противно.

– Не смейте, не бросайте, он нам нужен! – кричал Руслан, когда я его решительно швырнул в глубокий узкий колодец, что, как вход в ад, мрачно чернел в самом дальнем углу подвала. Этот инцидент мной трактовался тогда как кульминация, после которой должна была наступить скорая развязка

– я почему-то более, чем прежде, захотел уйти, я уже не мог, не мог здесь оставаться, мне, как на восьмитысячнике, было очень холодно, голодно и не хватало воздуха, я не мог дышать, все время кашлял. И тут вдруг Руслан заявил:

– Зачем вы выбросили оружие? Я его с таким трудом добыл. Вот вы уйдете, как мы будем защищаться?

– От кого защищаться? Что ты несешь?! – завопила Ольга Сергеевна, а Руслан придвинулся ко мне и неожиданно спросил:

– У меня отец – чеченец, а мать – русская. Вот скажите, на чей стороне я должен быть, воевать?

Меня этот вопрос застал врасплох. И пока я туго соображал, слово взяла мать:

– Ты что говоришь, сынок? Что значит – воевать?... Это не русские воюют с чеченцами, а бандиты с бандитами.

Наступила очень долгая пауза, и я даже не знал, что к этому добавить или на это возразить, лишь значительно позже понял, что Ольга Сергеевна тогда поставила очень правильный диагноз, и она же предложила метод лечения:

– Вам надо уходить, – твердо сказала она мне. – Хотя бы вы попытайтесь уйти от этого кошмара.

Я молчал, не знал, что ответить. Я верил, что уйду и, может быть, останусь в живых, а ее участь, точнее их всех, очень печальна – это как ночь провести на вершине Эвереста: замерзнешь, сдует или, в конце концов, кислорода в баллончике до утра не хватит. И Ольга Сергеевна это прекрасно

понимала: она стояла передо мной, худая, как жердь, нервно сжимая грязные руки, а на лице ни трепета, словно оно уже окоченело, да и не увидишь ничего – все в копоти и в саже, и только глаза, большие, усталые, тоскливые голубые глаза еще выдают жизнь, еще тлеют, едва-едва в темноте горят, и в них мольба, но она не может, не может мне это сказать – и тогда сказал я:

– Может, я Руслана с собой возьму.

– Да, да! – как она заплакала... – Спасите его. Возьмите с собой, очень прошу.

– Никуда я не пойду, – жестко процедил Руслан.

– Умоляю, сынок, – мать упала перед ним на колени. – Хотя бы ты уйди. Мне легче будет.

Сцену их расставания не описать. Словно из могилы, она его силой выталкивала из подвала, а он, как деревянный, с осоловелым взглядом, упирается, все шепчет:

– Мама, мама, не гони – я хочу с тобой!

– Нет, нет! Умоляю!.. Сынок!.. Ты ведь всегда меня слушался. А я не пожелаю худого... Иди, поезжай к дяде. И мы скоро туда прибудем...

Уже на улице она так крепко обняла сына, так прижалась и поцеловала, будто пыталась навсегда вдохнуть и запомнить аромат своего бесценного земного продолжения...

В ночь мы с Русланом уходили. По сравнению с нашим подземельем на улице было светло. Пасмурное небо как бы накалено – центр Грозного в огне, и, как с вершины горы

раскаленная лава, этот пожар надвигается. Надвигается медленно, страшно и неумолимо. И здесь вроде тихо, безмолвно, и жизни нет и не будет. А вот на окраинах города еще есть жизнь, там буря, там ураган, непрерывный залп огня, туда откатился фронт противостояния, но только там есть шанс на спасение, шанс в движении и в борьбе.

Мы тронулись навстречу буре – «как будто в бурях есть покой!», как сказал классик.

5 января, день

Сегодня в клинике удивительная тишина и спокойствие. Строго по расписанию завтрак и обед. Утром, как обычно, звонила дочь – у нее все хорошо. То же самое и я ей написал в ответ. Еще звонили из дома, вроде там тоже все нормально. Видимо, все начальство разъехалось по заграничным курортам, и людям стало жить спокойнее – все-таки новогодние праздники. А я работаю. Точнее, я пишу, и назвать это работой, наверное, неправильно. Ведь работают ради чего-то, в основном ради денег как средства существования. А зачем я пишу? Хочу что-то понять? Кому-то что-то доказать? А может, как самооправдание или некий отчет? Словом, не знаю для чего, но пишу, раз говорить не могу, и в этом процессе я получаю какое-то внутреннее удовлетворение, самоудовлетворение. И, наверное, это написание книги в чем-то сродни с восхождением на Эверест. Ну, скажем так, в чем польза

обществу и человечеству от того, что некий друг Максима совершил восхождение на самую высокую гору мира? В целом – хорошо, но вроде и все. Примерно так же, наверное, и с написанием книги. В общем, неплохо. По крайней мере, никакого вреда никому, это не война, а наоборот, направленное против войны. Ведь войны оттого, что люди друг друга не слышат, не слушают, не читают, не понимают, а презирают. Война – зло. Жить в войне – опасно, страшно и вредно. А писать о войне – тоже нелегко, но надо, потому что война, как известно, сыновей не бережет... А на меня тогда взвалилась непомерная ноша. Ольга Сергеевна доверила мне своего сына. Я обещал, я должен был его доставить к ее деверю, дяде Руслана, который проживал в Майкопе...

Мы покинули подвал где-то в полночь. Нам надо было торопиться, а как тяжело было идти. И может, это не вполне уместно, но я вновь хочу вспомнить слова альпиниста, друга Максима. Он говорил, что чем идти на высоте более 8 тысяч метров, легче бежать в толще воды по дну океана. Так же тяжело было и нам идти, особенно мне, потому что я думал только о Руслане, за него боялся, переживал, Бога о помощи молил. И после подвала тяжело идти. Как ни странно, здесь мне воздуха не хватает, впервые в жизни я понял, что такое одышка. А воздух тяжелый, спертый, с гарью и порохом, с трупным запахом. И идем мы в потемках – и уже не в своем родном городе, а в городе-призраке, где все уже незнакомо, все пугает, все зловеще. И идем мы не улицами, а дворами

и пустырями – на пути заборы, руины, болванки ракет, и на трупы натыкаемся, и дальше идем, каждый раз боясь наступить на мину, а где-то снайперы сидят с приборами ночного видения... А сколько летает снарядов шальных. И от каждого взрыва и выстрела сердце замирает, потом с болью екает, как бы оживает, и уже бьется в ушах барабанный бой высокого кровяного давления... Мне казалось, что, не будь Руслана, мне было бы гораздо легче, спокойнее. Но, с другой стороны, он как-то уже ориентируется здесь – живой, быстрый, бесстрашный и бесшабашный. Последнее вроде очень хорошо, но это меня и пугает. Мне все время приходится его одергивать, не пускать вперед и за собой вести. А путь я выстроил. Я хочу дойти до соседа дяди Гехо – они в подвале. Там будет полегче, по крайней мере, все разужнаю.

И вот узнал. В этом квартале, да и кругом, все ворота, видимо, тяжелой техникой повалены, заборы разбиты. Большой новый дом сына дяди Гехо – руины, и все рядом в таком же состоянии. Я понимаю, что здесь жизни нет и не может быть, здесь сильный трупный запах, а я как вкопанный стою, не знаю, что мне делать, как быть, я в шоке, и внезапный голос Руслана испугал:

– Там у забора много трупов, видать, расстреляли.

Каюсь и до сих пор чувствую свою вину, но я тогда смалодушничал и струсил. И тогда, и сейчас оправдываю себя тем, что я боялся за Руслана. Отчасти это так. Но если я этих погибших не похоронил, то я должен был хотя бы прочитать

Ясин, и вообще, я ведь наверняка кое-кого, хотя бы старика, соседа сына дяди Гехо, мог узнать, но я тогда схватил Руслана за руку и сказал:

– Пошли, быстрее, – мне стало страшно, и я не мог находиться на этом месте. А прошли пару кварталов – стало еще страшнее: совсем рядом со смертоносным свистом пролетел снаряд, раздался такой силы взрыв, что мы упали, и я даже встать не мог, ноги от страха, от слабости, голода и холода дрожат. На корточках, прислонившись к какому-то сырому, ледящему спину забору, я просидел немало времени, и, может быть, это странно, но я тогда впервые в жизни ощутил страшное чувство, что я не могу и не хочу думать, и жить не хочу – полная апатия, безволие и бессилие. И даже когда услышал приближающийся гул вертолетов, я не мог и не хотел шелохнуться, и лишь голос Руслана пробудил меня к жизни:

– Нам надо идти вперед или возвращаться обратно в подвал, – он чуть не сказал или сказал «к маме», – либо уходить из города.

– Что?! Только не в подвал... Пошли. Надо уходить из этого города.

Я и не представлял, что Грозный такой большой. За ночь мы проделали немалый путь, но были лишь в середине Старопромысловского шоссе. А с рассветом мы слышали надвигающийся гул техники – спрятались в подвале какого-то разбитого здания, из которого мы видели, как огромная ко-

лонна военной техники медленно въезжала в город. Это было угнетающее зрелище: столько танков, пушек, «Градов» и прочей смертоносной техники, а также много солдат. Если все это начнет стрелять и поражать, то на маленькой территории Чеченской Республики живого места не останется.

Я был разбит, раздавлен и морально, и физически. У меня не было сил дальше идти, и я не знал, куда идти и как спасти Руслана, если я и самого себя спасти не могу, не знаю как. Мне было тяжело, очень плохо. Если честно, я уже и не мог идти, ломило все тело, и единственное желание – жажда! Я очень хотел пить и, видимо, не раз это желание высказал. Но воды нет, есть грязный, потемневший снег, который я, как зверь, стал жадно есть. Не знаю, что и как произошло, но я, очевидно, в какой-то момент отключился, а очнулся от гула техники – новая колонна в город въезжает. Моя первая мысль: где Руслан? Наверное, мое состояние было таким же, как у Ольги Сергеевны, когда Руслан вот так исчезал. Только я не плакал и не кричал. Кричать боялся, да и не смог бы – горло болит, даже глотать не могу. Но я об этом не думаю, мысль, тревожная мысль о Руслане; я уже был в полном отчаянии, как он вдруг появился, – улыбается, бутылку с водой протягивает.

– Ты где был?

– Вы воду просили.

Я бутылку взял – жажда мучила, но еще сильнее было желание этого юнца побить, проучить, но и этого я сделать не

мог, лишь выдал:

– Руслан, я должен и обязан доставить тебя к твоему дяде. Пожалуйста, я слаб, но прошу, умоляю – больше не исчезай. Понял?

– Понял. У вас жар. Вы больны.

Я это тоже уже понял, чувствовал, да мне ведь болеть нельзя. С жадностью выпил почти всю бутылку воды. Эта вода, если можно так ее назвать, была ледяная, вонючая, ржавого цвета. Но это была вода, она очень нужна моему обезвоженному телу. После этого я почувствовал небольшой прилив сил – точнее, изо всех сил заставил себя мобилизоваться. Главное – не сникать, взять себя в руки, бороться – значит, идти. Но куда? Куда – понятно: подальше от города и, по возможности, из республики. Но как? Это почти неосуществимо... И я не дойду. И тут – как озарение. Ведь мы находимся в подвале одного из наших подразделений «Грознефть – НИИ», что на Старопромысловском шоссе. А рядом гора – Карпинский курган, и там мое УБР. Чисто интуитивно в сторону моей конторы и работы направилась моя мысль, и я выстроил маршрут, сообщив спутнику: «Как стемнеет, пойдем». Так мы и поступили.

Изначально я думал, что мне с этим юношей будет тяжело. На самом деле Руслан помогал мне во время подъема. Я бы от болезни и бессилия пошел туда, где все уже под наблюдением и прицелом. А Руслан уже знал нрав войны и вел меня среди каких-то кустарников вдоль дороги. Я еле шел

на подъем, порою карабкался, и чем выше поднимались, тем тяжелее угнетала мысль о бессмысленности пути. Ведь УБР – на горе, почти на вершине. Единственный стратегический объект в округе, как на ладони у авиации и артиллерии. А я туда, из одних руин – в другие, юношу веду. И хоть идти очень мешает мелкая-мелкая изморозь – грунт очень скользкий, зато к вершине явился сплошной туман, значит, нас не заметят, а я и в темноте свободно ориентируюсь на местности – здесь все знакомо, и на мое удивление – никаких изменений, и я даже чувствую здесь какое-то отстраненное спокойствие, как будто оазис мира. Я думал, что ворота будут снесены и забор повален: все оказалось на месте, и ключи от ворот и здания там, где я их запрятал, – под большим валуном. Мы зашли в контору, и здесь после меня никого не было: все как прежде, только света нет, но у нас есть свой генератор, который, понятно, я не включу, и без этого тут как в раю. У меня здесь персональная комната отдыха, где и постель есть, но за Русланом нужен присмотр, и мы пошли в вахтерскую, где несколько кроватей. На одну из них я повалился, понял, что больше и шага сделать не смогу, и последнее, что смог, это прошептать:

– Руслан, пожалуйста, не отходи от меня. Ложись. Спи.

... Проснулся я от боли. Все ломило, голова свинцовая. Не мог понять, где я. На улице пасмурно, хмуро, и где-то в стороне гроза, она убаюкивает; я еще и еще хочу спать, и, наверное, вновь засыпаю и во сне вижу свою семью – мою

младшую и самую любимую Шовдочку. Она что-то приятное, нежное и трогательное играет, поет, но из-за раскатов недалекого грома ее музыка еле слышна, и вдруг такой грохот, так тряхнуло, что я вмиг все вспомнил, вскочил и первым делом заорал:

– Руслан! Руслан, где ты?

Я бы, наверное, сошел с ума, если бы тут же Руслан не появился. Он стал каким-то светлым, даже румяным:

– Вы проснулись? – он улыбался. – Тут почти все есть, даже газ в баллонах. Я воду подогрел, искупался... Сейчас поесть принесу.

Я и не знал, но, оказывается, в нашей столовой были крупы, консервы, чай и сахар. А Руслан во всем мастер – я ел манную кашу и много еще чего, хотя особого аппетита нет, – знаю, что болен. А Руслан предлагает:

– Вам тоже надо искупаться. Я воду подогрею.

После многих-многих дней подвальной и военной жизни эти водные процедуры – просто наслаждение, даже о войне забыл. А потом пил чай с медом (у меня в кабинете баночка осталась), лег в постель, укутался, так вспотел, что все мокрое. А Руслан, о котором я должен был позаботиться, наоборот, ухаживал за мной. Вновь я проснулся от грохота, где-то треснуло стекло. И я вновь стал звать Руслана – тишина. Я испугался, стал бегать по зданию, выбежал, смотрю, а он на крыше.

– Ты что там делаешь?

– Отсюда город видно.

– Слезай! Немедленно спускайся, – приказал я и сам двинулся навстречу.

Позже, когда мы пили чай, Руслан как бы про себя сказал:

– А в городе вроде потише... Ничего уже не горит, и авиация не бомбит.

– Конечно, своих-то небось не будут бомбить. Ты ведь видел, сколько туда техники и солдат заехало.

Мы замолчали, и я уверен, что оба думали о нашем подвале, а Руслан вдруг тихо попросил:

– Можно ночью я в город сбегаяю? Мама... За ночь справлюсь.

– Нет! – как можно тверже сказал я и, видя лицо и влажные его глаза, добавил: – Настаиваешь? Вместе пойдем. Но ты ведь представляешь, какой это риск?... Не переживай. Я думаю, что всё в городе проверяют и их уже обнаружили. Ольга Сергеевна и бабушка – русские, и там все уже утряслось, – я пытался выдавить из себя улыбку. – Представляешь, они уже небось в каком-либо военном госпитале. Уже звонят в Майкоп, а может, уже там, им, наверное, русские военные уже помогли. Хм, а мы еще здесь... Как она волнуется!

Волновался и я, очень волновался. Изнутри идет нарастающий страх. Я понимаю, что надо действовать, что-то предпринимать. Но я еще болен, слаб и, главное, не знаю, что делать. Но знаю, что и до этого места военные так или иначе доберутся, а еще, не дай Бог, с бомбами прилетят. Надо ухо-

дить, из республики уходить. И, как прозрение, у меня моментально возник оптимальный план. Как стемнеет, мы уходим в сторону ближайшего села Алхан-Кала – это недалеко, небольшой перевал и спуск. В селе, может, кто и остался. В любом случае там рядом трасса Ростов – Баку, и как-то будем двигаться в сторону Ингушетии и Ставрополя. От этого плана у меня и настроение, и самочувствие улучшились, а тут вдруг неугомонный Руслан спрашивает:

– А можно я генератор включу?

– Зачем? Ты знаешь, как он шумит!

– Телевизор бы включили... Посмотрим, что в мире творится.

Этот юноша мне все больше нравился, он удивлял – разве можно от такой идеи отказаться. Стокиловаттный генератор на всю округу зарычал, напряжение появилось, а телевизор не показывает, лишь дребезжит. Но Руслан очень сметливый юноша, где-то провод достал, что-то там сообразил, и сразу два-три канала стали доступны, и мы прилипли к экрану, слушая новости. А там в основном о Чечне – Грозный и большая часть республики уже под контролем федеральных сил. Вроде даже какие-то госструктуры стали функционировать, в Грозном уже прошло заседание нового правительства, экономика восстанавливается. Какой Руслан умница, и как я раньше не сообразил? Я бросился в диспетчерскую, включил рацию – и что я слышу?! – там идет переключка, знакомый голос нашего диспетчера с центрального

пульты. Перебивая всех, я стал кричать.

– Вы где? – слышу я столь родной и знакомый голос.

– Я у себя, – орал я. – На своем УБР. Помогите мне. Со мной юноша. Его надо вывезти. Помогите!

– Не отключайтесь, – слышу я спасительный голос диспетчера. И через пару минут она вновь на связи. – Я доложила генеральному. За вами высылается машина... Как вы?

– Нормально, – и о своем наболевшем: – У тебя есть связь? Ты можешь сделать два звонка в Москву – семье и в Майкоп? – я быстро продиктовал номера.

Казалось, что мир изменился, стал светлее, что все прошедшее как ужасный сон.

– Руслан! Руслан! – кричал я в восторге, – за нами сейчас приедут... Смотри за дорогой. – А я прилип к рации, ждал. В Москве узнали, что я живой, плакали. А вот в Майкопе трубку никто не поднял.

– Руслан, Руслан, едут?

– Нет! – кричал он в ответ.

Еще пару раз я спрашивал – он так же отвечал и вдруг прибежал взволнованный:

– Едут. Но это, по-моему, федералы. БТРы.

– Ну да, – обрадовался я. – На чем же ныне можно ездить.

Мы выбежали на улицу. Оттуда не видно. Как бы наперегонки побежали к воротам. И оттуда пока их не видно – они скрылись в низине, но уже рев совсем рядом, и тут я услышал:

– А мы к маме и бабушке сможем заехать?

– Конечно, я думаю, сможем, – выдал я, но последние слова вылетели как бы по инерции. Потому что бронетехника как бы всплыла уже совсем рядом, просто несется, рычит, и на ней военные в масках и пара собак.

– Руслан, скрываемся! – инстинктивно выскочило из моих уст, я схватил его за руку, попытался в калитку втолкнуть, но он в этих делах более сообразителен:

– Уже поздно. Бесполезно, у них собаки.

– Во двор! – скомандовал я, задвинув засов, у меня еще теплилась надежда, что они проедут мимо, а может, это за нами, с добром. Однако от одного их вида коленки уже дрожали, а когда первая машина уперлась в ворота, я все понял, бросился навстречу:

– Не ломайте, я открою! Я начальник буровой.

Я отворил калитку, а мне с машины небрежным жестом приказали и ворота раскрыть. Две машины въехали во двор, две остались снаружи. Где-то около двадцати вооруженных до зубов военных уже соскочили с бортов, как бы заняли позиции, а ко мне подошел старший – командир, тоже в маске. Впервые я столкнулся с федералами и так испугался, что вначале даже не расслышал:

– Документы!

Я передал паспорт и удостоверение. Командир очень долго и внимательно изучал паспорт, потом раскрыл удостоверение:

– Что за шакал здесь? – я понял, что это о печати, на которой «ичкерийский волк», но ничего не ответил, лишь плечами пожал.

Командир разорвал мое удостоверение, небрежно бросил в грязь и повернулся к Руслану:

– Твои документы!

Руслан протянул свидетельство о рождении.

– Что это такое?... Где документ, подтверждающий твою личность? – рявкнул командир. – Паспорт где?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.